

Майгуль  
Аксельссон



Апрельская  
ведьма



Разгадай меня

Майгуль Аксельссон

**Апрельская ведьма**

«Издательство АСТ»

2009

УДК 821.113.6-31  
ББК 84(4Шве)

**Аксельссон М.**

Апрельская ведьма / М. Аксельссон — «Издательство АСТ»,  
2009 — (Разгадай меня)

ISBN 978-5-17-113040-4

Дезире с рождения прикована к больничной койке, она не может ни ходить, ни говорить. Но Дезире – Апрельская ведьма. Всеведущая и ясновидящая она летает сквозь время и пространство. Дезире может увидеть чужую жизнь глазами птицы, обнять любимого чужими руками, узнать чужую тайну. У Дезире есть сестры: Кристина – успешный врач, Маргарета – ученый-физик, Биргитта – алкоголичка и наркоманка. Они не знают о четвертой сестре, но она всегда рядом с ними. «Я желаю узнать, кто из моих сестер украл предназначенную мне жизнь».

УДК 821.113.6-31

ББК 84(4Шве)

ISBN 978-5-17-113040-4

© Аксельссон М., 2009

© Издательство АСТ, 2009

## Содержание

Волны и частицы	6
Щепка на волнах	11
Во внешней области	21
Карательная экспедиция	49
Близнец-насос	63
Конец ознакомительного фрагмента.	66

# Майгуль Аксельссон

## Апрельская ведьма

Majgull Axelsson  
Aprilhäxan

© Majgull Axelsson, 2009

© Перевод. Е. Чевкина, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

\* \* \*

Эта история – целиком вымышленная. Разумеется, есть в Вадстене и поликлиника, и приют, как есть в Кируне Институт космической физики, но упомянутые учреждения – вовсе не те, о которых идет речь в этой книге.

Все люди и события тоже появились из моей головы, хотя и не без некоторого содействия Рэя Брэдбери, уже несколько десятков лет назад заставившего меня задуматься об апрельском колдовстве и апрельских ведьмах.

*Автор*

## Волны и частицы

*Neutrinos they are very small  
They have no charge and have no mass  
And do not interact at all  
The earth as just a silly ball  
To them, through which they simply pass  
Like dustmaids down a drafty hall  
Oh photons through a sheet of glass...*

*John Updike<sup>1</sup>*

– Ты кто? – спросит сестра. Она восприимчивей остальных, – она одна и ощущает иногда мое присутствие. Сейчас она похожа на птицу – стоит и, вытянув шею, вглядывается в сад. Поверх ночной рубашки накинут лишь серенький халатик, будто утренний заморозок ей нипочем. Халат распахнут, пояс сполз назад длинной петлей и лежит на ступеньке, словно контур прозрачного хвостового пера.

Резко повернув голову, она вслушивается в сад – ждет ответа. Не дождавшись, повторяет, уже иначе, испуганно и резко:

– Ты – кто?

От каждого выдоха в воздухе повисает белый плюмаж. Это очень ей идет. Она такая воздушная. Как дымка – это я уже тогда подумала, в первый раз, как ее увидела. В тот жаркий августовский день, еще за много лет до того, как я попала в пансионат временного пребывания. Хубертссон распорядился, чтобы меня выкатили на улицу и оставили в тени большого клена – перед самым началом конференции врачей в зале заседаний. И будто случайно столкнулся на парковке с Кристиной Вульф и тоже будто случайно заставил ее пройти по тому самому газону, где сидела я. Ее туфли-лодочки вязли в мягкой траве, и, выбравшись на гравий, она на минутку остановилась – посмотреть, не налипла ли земля на подошву. Только тут я заметила, что она в колготках, несмотря на жару. Опрятная блузка, юбка до колен и колготки – все в бело-серой гамме.

– Твоя старшая сестра – дамочка из тех, что моют руки с хлоркой, – указав на нее, сообщил Хубертссон.

Это было очень точное определение. Но недостаточное. Теперь, когда я увидела ее своими глазами, и цвет ее, и форма показались мне какими-то неопределенными, словно законы материи ее не касаются, словно она способна просочиться как дым сквозь закрытые окна и запертые двери. На мгновение мне показалось, что рука Хубертссона, попытавшегося поддержать ее, прошла через ее локоть насквозь.

Вообще-то ничего особенного тут нет. Мы часто забываем, что так называемые законы природы – это лишь наши собственные воззрения на действительность, чересчур сложную, чтобы ее постигнуть. Взять хоть то, что живем мы в облаке частиц, не имеющих массы, – фотонов и нейтрино. Или то, что всякая материя, даже человеческое тело, большей частью состоит из пустоты: относительное расстояние между атомными частицами столь же огромно, как расстояние от звезды до ее планет. Поверхность и твердость создают не сами частицы, а собирающее их воедино электромагнитное поле. К тому же квантовая физика учит нас, что мельчай-

---

<sup>1</sup> Нет у нейтрино ничего, Заряда нет, и массы нет, Взаимодействий – нет и тех, Земля ему – пустой орех, Оно проходит сквозь него, Как пыль сквозь щели между стрех, Как сквозь стекло проходит свет... Джон Андайк (Здесь и далее – перевод стихов и примечания Е. Чевкиной.)

шие элементы материи – не только частицы. А еще и волны. Причем и то и другое – в одно и то же время. К тому же некоторые из них обладают способностью находиться в нескольких местах одновременно. В течение микросекунды электрон оказывается во всех возможных для него положениях, и все эти возможности для него в равной степени реальны.

Словом, все течет. Что, впрочем, давно известно.

С учетом этого не так уж и невероятно, что иные из нас могут нарушать физические законы. Но когда пальцы Хубертссона коснулись наконец Кристины, стоящей на одной ноге и разглядывающей подошву туфли, очертания ее тела снова стали четкими, как у остальных людей. Рука Хубертссона схватила ее за локоть и застыла в этой позиции.

С годами Кристина не стала менее прозрачной; по-прежнему кажется, что она в любой миг может раствориться, влившись в мешанину волн и частиц.

Только это, конечно, иллюзия. На самом деле Кристина – сгусток плотно сжатой человеческой материи. Даже слишком плотно.

Но вот ее электроны заняли иное положение. Сморгнув, она забывает обо мне и, запахнув халат, шлепает сапогами по раскисшему снегу на садовой дорожке – вперед, к почтовому ящику и утренним газетам.

Письмо лежит на самом дне ящика. При виде его легкая волна ужаса пробегает по ней, как ветерок по саду. Астрид, думает она и в тот же миг вспоминает, что Астрид умерла, что уже три года как ее нет. И успокаивается. Сунув газеты под мышку, она идет обратно в дом, так и сяк вертя в руках конверт. Она не смотрит под ноги.

И поэтому спотыкается о мертвую чайку.

В то же самое мгновение другая моя сестра открывает глаза в гостиничном номере в Гётеборге и у нее перехватывает дыхание. Она всегда так просыпается: пугается в первую секунду, пока не сообразит, кто она и где. Потом эта утренняя паника отступает, и уже снова наплывает дрема, и тут она спохватывается и тянется руками к потолку. Господи! Времени-то нет валяться! Ведь сегодняшний день, обычный четверг, она употребит на то, чтобы пройти по собственным следам. *A walk down Memory Lane*<sup>2</sup>! Однажды она уже хаживала этой дорогой – но очень давно.

Маргарета садится на постель и нашаривает сигареты. От первой затяжки ее пробирает дрожь – возникает чувство, что кожа вдруг становится велика и отстает на несколько миллиметров от остального тела. Она смотрит на свои руки – голые, бледные, жилистые. Свою единственную ночную сорочку она забыла дома у Класа...

Для завязтой курильщицы Маргарета слишком любит свежий воздух. Завернувшись в одеяло, она бредет к окну и открывает фрамугу. А потом долго стоит на сквозняке, глядя на серо-свинцовую раннюю весну.

Нигде в Швеции больше нет такого тусклого света, только в Гётеборге, думает она. Привычная, давно знакомая мысль, так утешавшая ее там, дома, в гнетущем мраке Кируны. Все-таки ей повезло. Она вполне могла бы остаться на всю жизнь под этим металлическим небом Гётеборга, если бы не одна случайность. Одна случайность в Тануме.

Маргарета затягивается, с удовольствием пуская дым сквозь улыбающиеся губы. Сегодня она проводит Танум. Впервые за два с лишним десятка лет вернется в это место, определившее весь ход ее взрослой жизни.

Тогда ей, студентке-археологине, едва стукнуло двадцать три, и все то жаркое лето она копала поросший вереском песок, просеивала его и счищала, высвобождая древний рунический камень, а внутри нее все это время словно вибрировала туго натянутая струна ожидания. Струна эта пела о Флеминге, датском профессоре с глубоким низким голосом и узкими гла-

---

<sup>2</sup> Прогулка по переулку Памяти (англ.) – неточная цитата из стихотворения Б. Дж. де Силва.

зами. На тот момент Маргарета уже имела, как бы помягче выразиться, известный опыт общения с немолодыми мужчинами и пустила в ход все знакомые ей приемы и хитрости. Потупив взгляд, она поправляла волосы, стоило ему посмотреть в ее сторону, ходила выставив вперед грудь и покачивая бедрами, а в перерывах, за кофе, на каждую его шутку отзывалась грудным смехом.

Поначалу это его скорее пугало. Он явно искал ее общества, улыбался, когда она улыбалась, и смеялся вместе с ней. Однако никаких инициатив не проявлял. Вместо этого все чаще, кстати и некстати, упоминал о своей жене и детях, о собственном возрасте и обязанностях. Но Маргарета не сдавалась. Характера ей и тогда уже было не занимать, и чем чаще прибегал он к подобным отговоркам, тем сильнее и неотступнее она притягивала к себе его взгляд. Ты будешь мой!

Правда, зачем он ей, она толком не знала.

Он переспит с ней, само собой. Лежа вечерами в палатке, она воображала, как он обнимает ее одной рукой за талию, а другой расстегивает ширинку. Он дрожит, пальцы его не слушаются, но помогать ему она не станет, нет, наоборот, чтобы помешать, она прижмется к нему, тихонько вращая бедрами. А уж когда ширинка будет расстегнута, ее рука сама собой скользнет туда и найдет его оживающую плоть, и та набухнет и напряжется бесформенной глыбой под белыми хлопчатыми трусами, а потом ее блуждающие пальцы двинутся дальше, легкие и трепещущие, словно мотыльки.

Но завести его – это только путь, а не цель пути. Маргарета подозревала, что ей вполне хватило бы одного сознания, удовлетворенного тщеславия – что она сумела вызвать у Флеминга ответное вожделение, но ей было уже все равно. В ней зияла некая пустота, жаждавшая заполнения, – и она заполнится, Маргарета была уверена в этом, когда оба упадут в вереск, окутанные летней ночью. Тогда Флеминг что-то такое скажет или сделает – этого она уже не знала, – и это что-то навсегда заполнит все пустоты ее тела. После чего она сможет наконец жить спокойно – наполненная навсегда.

В конце концов это случилось. Как-то вечером Флеминг положил ей руку на талию и принялся расстегивать брюки. Пальцы Маргареты сомкнулись вокруг его набухшей плоти, и ее напряженное вожделение разрядилось от одного лишь предвкушения, едва они оба повалились в вереск. Следом разрядился Флеминг. Так все и кончилось – ему было больше нечем ее наполнить. Тяжесть его тела, только что желанная и многообещающая, сделалась давящей и даже опасной. Она отпихнула его в сторону и с облегчением вздохнула. Он не реагировал, лишь что-то пробурчал и повернулся на спину. И через миг крепко спал, примяв цветущий вереск.

В ту пору Маргарета не смогла бы объяснить, как это могло случиться – что она встала и ушла. В ее характере было бы как раз остаться, уткнувшись ему в подмышку, и потом несколько месяцев кряду радоваться тем крохам, что ей перепали, и только после начать мечтать о более лакомых кусочках. Но тогда от горечи разочарования сводило скулы, и она, натянув шорты, пошла прочь. И брела без оглядки неведомо куда, прочь от раскопа и лагеря – навстречу чему-то иному.

– Дуреха, – утешает себя Маргарета, стоя у открытого окна двадцать пять лет спустя. И выпрастывает руку из одеяла – словно пытаюсь сквозь годы дотянуться до той измученной пустотой девчонки, бесцельно бредущей по вереснякам Танума. Однако тут же замечает свой неосознанный жест и, прервав движение руки на полпути, меняет его направление – руке придется теперь вынуть изо рта сигарету и загасить окурочек.

Будучи физиком, Маргарета относится к современной физике с некоторой опаской. Иногда ей кажется, что понятия времени, пространства и материи растекаются прямо на глазах – а значит, надо набросить узду на разыгравшуюся фантазию, внушив себе, что с чисто человеческой точки зрения ровным счетом ничего не изменилось. Ведь тут, на земле, материя по-прежнему тверда и надежна, а время – все тот же поток, текущий от начала жизни к ее концу. Это



только в теории время иллюзорно, уговаривает она себя. Для человека оно реально, а потому не безумие ли – пытаться протянуть руку в прошлое? Чтобы, к примеру, утешить самое себя двадцатипятилетней давности.

Она с грохотом захлопывает окно и задерживает шторы. Одеяло падает на пол. Она потягивается. Теперь принять душ, накраситься, а потом – сгонять на разбитой машине Класа сперва в Танум, оттуда в Муталу и наконец добраться до Стокгольма. Не зря она изнывала на этой занудной конференции. Зато можно на неделю удрать из Кируны, подальше от чертовой монографии! Под душем опять нахлынули воспоминания. Неожиданно она вновь увидела Флеминга, вспомнила его испуганную улыбку на следующий день и торопливый шепот. Правда, было замечательно? И сегодня вечером снова будет замечательно? А осенью он постарается стать ее научным руководителем.

Маргарета-взрослая подставляет лицо под струю, закрыв глаза. И видит, как юная Маргарета тихонько улыбается, низко-низко наклонясь над иссеченной поверхностью камня.

– Увы, – говорит она. – Увы, Флеминг. Ничего не выйдет.

– Почему?

Она поднимает голову и смотрит на него:

– Потому что с археологией покончено. Осенью я займусь физикой. Этой ночью я все решила.

И, вспомнив его взгляд, взрослая Маргарета издает сухой смешок.

Моя третья сестра лежит на матрасе и хлопает глазами. Все остальное в ней совершенно неподвижно.

Кровати у Биргитты нет. А на матрасе нет даже чехла – она лежит прямо на грязно-желтом поролоне. Руки раскинуты в стороны, из левого угла рта тонкой струйкой бежит слюна.

Вид у нее жалкий. Эдакая распятая квашня.

И все-таки она думает о красоте, вновь вспоминая ту пору, когда в свои пятнадцать лет она была молочно-белой Мэрилин Монро из Муталы. Рядом на полу лежит Роджер, тощий, похожий на креветку мужичонка с сальными волосами и седоватой щетиной на подбородке. Это из-за него Биргитта не может забыться сном, это из-за него она пытается запускать в памяти ленту о том времени, когда она была так хороша. И это почти удается. Она видит, как Дог выныривает из своего автомобиля, захлопывает дверцу и озирается. На парковке тихо, только голос Клиффа Ричарда несется из переносного проигрывателя. Все взгляды устремлены на Дога, девичьи грезы выются вокруг него, как мотыльки, а парни обреченно замолкают.

Биргитта знает, что он направляется к ней – еще прежде чем он сделал шаг, она знала, что он идет именно к ней. И вот он подходит, вот он распахивает дверцу автомобиля и хватается за запястье.

– Теперь ты моя девчонка, – произносит он. Только это и больше ничего.

Как в кино, думает она, уже в тысячный раз за свою жизнь. Все было в точности как в кино. Однако фильм продолжается: хор и пение смычков заполняют пространство, когда она вспоминает, как он потянул ее к себе через капот и наклонился, чтобы подарить ей первый поцелуй.

Но тут Роджер заворочался во сне, и фильм оборвался. Она поворачивает голову и смотрит на него, и в нос ей ударяет слабый аммиачный запах. На голубых джинсах от ширинки вниз по левому бедру расплывается темно-синее мокрое пятно...

Будь у Биргитты хоть немного сил, она навалилась бы на этого слизняка и придушила бы его тяжестью собственного тела. Но сил у нее нет. Она не в состоянии даже заткнуть руками уши, чтобы не слышать его голоса. А впрочем, какая разница... Слова уже сказаны, эти его слова, навечно засевшие в ее подкорке.

– Мать твою, – отдается в памяти его голос, и корявая ладонь ложится ей на лицо. – Мать твою, такая уродина, что аж пиписка валится...

Биргитта, закрыв глаза и затаив дыхание, снова ищет в памяти хор и скрипки, и могучие руки Дога, и молочно-белую Мэрилин Монро из Муталы. Но фильм кончился, только бобина безутешно крутится, шелестит оборванная пленка, а кадров больше нет.

Она зажмуривается изо всех сил, так что глаза превращаются в две черные полосы, силясь вернуться в утешительное воспоминание. И когда это не удастся, приподымает веки и смотрит на Роджера. Сегодня она наконец вышвырнет эту сволочь.

## Щепка на волнах

*«Весна, – думала Сеси. – Сегодня ночью я побываю во всем, что живет на свете».*

*Рэй Брэдбери<sup>3</sup>*

Перед самым рассветом все коридорные звуки внезапно меняются, в шепот и мягкие шаги ночных дежурных врывается стук каблучков и звонкие, как стекло, голоса. Это утренняя смена. Кроме того, сегодня смена Черстин Первой. Это ощущается даже в самом воздухе, – еще до ее прихода в нем начинаются особые, деловитые вибрации. Перед сменой Черстин Второй воздух неподвижен и пахнет кофе.

Сегодня среда. Может, получится принять душ. С прошлого раза минула уже неделя, и кисло-сладкий запах моего тела сделался тошнотворным. Он мешает сосредоточиться. Обоняние мое, стало быть, в полном порядке. Тем хуже.

Я делаю длинные осмысленные выдохи в мундштук, и экран монитора над моей кроватью принимается мигать в ответ:

«Желаете ли вы сохранить текст после завершения работы? Да/Нет?»

Короткий выдох, что означает: да, я желаю сохранить текст. Монитор шипит и гаснет.

Только теперь я чувствую, как устали глаза. Под веками жжет, нужно передохнуть в темноте. И лучше притвориться, что спишь, – на тот случай, если Черстин Первая затеет утренний обход. Если она узнает, что я не спала всю ночь, то не избежать нотации о важности соблюдения режима дня. Чего доброго, еще прикажет какой-нибудь из своих подчиненных – так называемых воспитательниц – примотать меня к креслу-коляске и отвезти на очередной незатейливый интеллектуальный конкурс. Вроде тренировки памяти для четырехлеток. Или детского лото. Первый приз – непременно апельсин, а победителю полагается улыбнуться и перестать пускать слюни. Поэтому я никогда не выигрываю, сколько бы моих картинок ни выпало. Черстин Первая подтасовывает карточки. Пациенты с «коммуникативными проблемами», как она выражается на американизированном жаргоне социальной службы, вообще не должны выигрывать. Иначе исчезает терапевтический смысл этих соревнований. Моя проблема здесь состоит в том, что я притворяюсь, будто не умею улыбаться. Я пускаю слюни, гримасничаю и прикидываюсь, будто я в отчаянии оттого, что уголки рта не желают мне подчиниться, когда воспитательница искушает меня призовым апельсином, – но так и не улыбаюсь. А Черстин Первая, знающая, что все это сплошное притворство, всякий раз стискивает зубы от ярости. И все же ухитряется не обвинять меня открыто: нянечки и сиделки ни в коем случае не должны узнать, что на самом деле я ей однажды улыбнулась.

Произошло это месяц назад, в первый мой день в отделении. Несколько часов кряду я слушала ее голос, доносящийся из коридора, – то бодренькую болтовню, то жалостное поскуливание – и мурашки ползли у меня по коже. Ее голос напомнил мне множество других голосов, из-за нее они наслаивались друг на друга, сливаясь в щебечущий гул: вот Карин из приюта для инвалидов, бойкая Рут, мечтавшая удочерить ребенка (но только не вот этого!), немка Труды из неврологии и сменившие ее Берит, Анна и Вероника. Все они говорили одинаково жизнерадостными птичьими голосами, но по сути это были продажные девки – они улыбались, щебетали и ласкали за плату. Ибо руки у них были ледяные, а цену они заламывали непомерную – признание собственной святости.

В пансионе меня окружали довольно равнодушные тетки, но руки у них были теплые, а голоса ничего особенного не обещали; несколько лет спустя у меня появилась собствен-

---

<sup>3</sup> Из рассказа Р. Брэдбери «Апрельское колдовство». Перевод Л. Жданова.

ная квартира и даже собственные помощники. Это была пестрая публика – молодые парни и пожилые женщины, застигнутые безработицей замотанные матери с малолетними детьми, но без образования, и средних лет художники, чья мечта о великих свершениях потихоньку зачахла. Они кормили, мыли и одевали меня, вовсе не рассчитывая на мою благодарственную любовь. Их спокойствие было непробиваемым, но чутким: стоило мне застонать или какой-нибудь мышце напрячься из-за неудобной позы, как они, немедленно отпустив меня, старались взяться как-нибудь иначе, поудобнее. Но теперь все это в прошлом. Приступы у меня все чаще, все тяжелее, и с каждым из них я все ближе и ближе к *status epilepticus* – вечному, нескончаемому эпилептическому припадку. И однажды Хубертссон, стоя у моей кровати, заявил, отведя глаза, будто в шутку, что так больше не пойдет. Помощники не справляются, мне нужен постоянный присмотр профессионалов-медиков, хотя бы в течение пары-тройки месяцев, – хотя бы на то время, пока мне подберут новое лекарство. В общем, мне придется вернуться в тот самый приют, откуда он меня когда-то вызволил. А донесшийся из прихожей голос подтвердил, что тут правит тот, кто в своей борьбе за милосердие не щадит никого.

И все-таки я поначалу старалась держаться любезно. На экране высветилось вежливое приветствие, едва Черстин Первая шагнула в мою палату, и я уже принялась выдувать свое имя – надо ведь представиться, – когда она наклонилась над моей кроватью и отвела монитор в сторону.

– Бедняжка... – сказала она и уже протянула руку, чтобы погладить меня по щеке.

Вообще-то я не властна над своими судорогами, но тут у меня вдруг получилось: моя голова, дернувшись, повернулась как раз под таким углом, чтобы цапнуть ее за большой палец. И я цапнула. Причем с такой силой, что почувствовала, как мои зубы, вонзившись в белую плоть, успели прокусить ее до кости, прежде чем очередной спазм отбросил мою голову обратно, заставив разжать челюсти. Вот тогда-то я и улыбнулась. Ласковой, широкой, искренней улыбкой. Единственной улыбкой, которой у меня удостоилась Черстин Первая.

Во время следующего спазма я сумела схватить мундштук губами и стала дуть. Не видя дисплея – она отодвинула его слишком далеко вправо, – я написала-таки на нем то, что хотела:

«Никто не смеет называть меня бедняжкой!» Толкнув ко мне монитор, она выскочила вон, ненатурально всхлипнув и жестом горестного укора обхватив укушенный палец левой рукой. В течение секунды я упивалась своей победой, а потом увидела текст, мигающий у меня над головой.

Никто не смеет называть меня бедняжкой. Да, черт побери. Сам Арнольд Шварценеггер не выразился бы лучше.

Все-таки это нужно было сказать. Потому что никакое другое физическое состояние не сменило такого количества прозвищ; каждое десятилетие последнего века сплевывает горькое старое слово и взамен ищет новое, послаще. И вот уроды стали калекami, калеки – увечными, увечные – инвалидами, инвалиды – физически неполноценными, физически неполноценные – лицами с ограниченными возможностями, а теперь – с функциональными нарушениями. За каждым из этих прозваний прячется иступленная надежда. И я разделяю ее – не верьте тем, кто говорит иначе. Никто неистовей, чем я, не желает, чтобы однажды нашлось это волшебное слово – последнее, окончательное, – которое исцелило бы израненный головной мозг, а спинному позволило бы ожить и воскресить погибшие нервные клетки. Но пока что такого слова не нашли, а если просто прибавлять к старым словам новые, то сумма будет примерно такой же, какую выдала Черстин Первая, запричитав над моей головой.

А пока это окончательное слово не найдено, я предпочитаю обходиться без затасканных определений. Сама-то я знаю, кто я. Щепка на волнах. Обломок давнего кораблекрушения.

– Эх, елки-палки, кажется, сам век взял и раздавил тебя в объятьях, – сказал однажды в новогоднюю ночь у меня в квартире Хубертссон, успевший хорошо набраться.

От этой реплики щеки у меня запылали, хотя экран моего монитора остался черным. Что мне было ответить? Ах, позволь мне остаться для тебя человеком, любимый мой, а не живым памятником эпохи? Но такое не говорят. В особенности когда ноги у тебя навеки скрючены, как у эмбриона, а верхняя часть туловища пребывает в непрерывном и произвольном движении, – лицо гримасничает, а руки ходят туда-сюда, как водоросли на дне. Тогда поневоле презираешь все нежные слова и притворяешься, что не расслышала.

Но я все слышу. Вижу. И чувствую.

Я слышу, вижу и чувствую, хотя нити, целостные и нерасторжимые у других человеческих существ, во мне перетерлись и лопнули. Лишь несколько тоненьких волоконцев покуда соединяют мое истинное «я» с тем, что представляет собой мое тело. В моем голосе осталось три звука: вздох – когда мне удобно, стон – когда неудобно, и животный вой – когда больно. А еще я могу делать длинные и короткие выдохи в трубочку-мундштук, которые компьютер преобразует в текст на мониторе. Кроме того, пока еще могу, хотя это и стоит мне невероятных усилий, удерживать в левой руке ложку, опускать ее в тарелку, а затем подносить ко рту. Могу жевать и глотать. Вот и все.

Уж сколько времени я пыталась уговорить себя, что где-то внутри этого хаоса – моего тела – все же осталось некое ядро, в глубине которого я еще человек. Ведь у меня есть воля и разум, и сердце, которое бьется, и пара легких, которые дышат, и – не в последнюю очередь – есть человеческий мозг, обладающий такими удивительными способностями, что самой страшно. Но толку в этих бодрых увещаниях было мало. В конце концов пришлось признать себе самой, что я попросту попала в хитросплетение обстоятельств, в паутину, которую Великий Насмешник распростер над миром. Это понимание крепло в течение последнего месяца. Иногда мне даже кажется, что Черстин Первая – Его посланница, такая маленькая паучиха Господня, – однажды подкрадется ко мне по этой паутине, чтобы растворить мои внутренности своей едкой слюной, а потом их высосать.

Что ж. Было бы логично. Но пока что этого не произойдет. У меня еще осталось два дела.

Во-первых, я желаю узнать, кто из моих сестер украл предназначенную мне жизнь.

А во-вторых, я желаю проводить на кладбище моего возлюбленного.

Лишь после этого я дам себя высосать.

Вот теперь я его слышу. Никто другой не открывает дверь в отделение так медленно, никто, кроме него, так не шаркает спросонок по коридорам. Сегодня он какой-то нерешительный, может, опасается, вдруг Черстин Первая выскочит со своей улыбкой и пути не будет.

Он ее называет Че-Один. В отличие от Че-Два.

– Она немислимая, – говорит он. – Эти белые обтекаемые формы... Но елки-палки, она ведь из сливочного мороженого. Подогреешь ее – и ни цвета, ни формы не останется!

Самому-то ему уже мало дела до шелковистой кожи и упругих сухожилий. Наверное, это как-то связано с его возрастом. За последние годы его лицо похудело и осунулось, брови стали седыми и кустистыми, второй подбородок обвис, а мешки под глазами набрякли. Со временем на его рубашках появлялись все новые пятна, а брюки становились все мешковатей. Некоторые санитарки из смены Черстин Первой говорят, что он – мерзкий. Сама же она ограничивается тем, что держит дистанцию: стоит ему подойти слишком близко, как она поспешно отстраняется и запускает пальцы в свои длинные волосы, чтобы, не дай бог, не прикоснуться к нему.

Я бы так не поступила никогда. Будь у меня такая сливочная плоть с упругими сухожилиями, способная двигаться по моей воле, она двигалась бы вокруг него. Он – единственный человек, чье прикосновение мне приятно. Может, это оттого, что он так редко ко мне прикасается. Примерно раз в месяц он меня осматривает, но всегда при этом присутствует медсестра, и его руки становятся деловитыми и чужими. Лишь однажды за осмотром последовала ласка.

Тогда у меня было четвертое за год воспаление легких. Он положил мне на голову обе ладони и, притянув меня к себе, прижал мою щеку к своей груди.

– Держись, – сказал он. – Поживешь еще.

Вязанный свитер под белым халатом шершаво коснулся щеки. А от тела его пахло миндалем.

Впрочем, было это одиннадцать лет назад. И больше не повторилось.

Иногда – когда мы одни – он садится на край кровати и расправляет мое одеяло, но чаще сидит в сторонке и даже не смотрит на меня. Забравшись на подоконник в глубокой оконной нише, он упирается ладонями в колени и глядит в окно, когда говорит сам, а когда я отвечаю, не сводит глаз с экрана монитора. Я для него – скорее мои слова, чем мое тело.

Слова мне тоже дал он. И не только слова. Он дал мне ощущение вкуса и запаха, память о холоде и тепле, имя моей матери и фотографии моих сестер. В Объединении народных промыслов он выпросил для меня домотканую льняную простыню, а в благодарность провел у них доклад о том, как трубчатая структура бельевых волокон противодействует образованию пролежней. Он убедил благотворителей из Ротари-клуба купить мне компьютер, а из «Lions» – телевизор; раз в год он грузит меня на специально оборудованную машину для инвалидов и везет в Стокгольм, в Музей техники, чтобы я могла заглянуть в камеру Вильсона. И, добравшись до места, он позволяет мне часами просиживать в темной комнате и в одиночестве любоваться пляской материи.

Все дал мне Хубертссон. Все.

Лишь через пятнадцать лет от меня, измученной, изученной до последней косточки, отступились нейрохирурги Линчёпинга и позволили перевезти в приют в Вадстену. Там первые несколько недель меня пришлось держать под капельницей, чтобы только сохранить мне жизнь. Глаз я почти не открывала и не шевелилась. Уже через несколько дней я ощутила, как набухают и расцветают пролежни у меня на бедрах, хотя ворочали меня каждый час – персонала тогда хватало, и порой весьма ретивого. Одна медсестра, откопав где-то старую вырезку из «Эстгёта-корреспондентен», повесила ее над моей кроватью. Снимок изображал меня, полулежащую в инвалидном кресле, – обриту голову прикрывала белая студенческая фуражка<sup>4</sup>. Самая героическая абитуриентка года!

– Глянь-ка, – говорили каждый день сиделки, стоило им повернуться к стене. – Помнишь? Ты ведь молодчина, вон экзамены сдала...

В то время я могла еще издавать звуки, отчасти напоминающие речь, но меня выматывала самая мысль о том, как мне придется гримасничать, чтобы ответить. Ни о чем на свете я так не мечтала, как о том, чтобы наконец сняли эту ужасную вырезку, но попросить об этом была не в силах.

Хубертссон появился на третью неделю, в четверг, – до этого он был в отпуске. Он шагнул ко мне в палату и что-то бурчал, покуда сиделка докладывала ему мой анамнез. Я не открыла глаз, чтобы на него посмотреть. Врач как врач, что на него глядеть.

Он наклонился над кроватью, осматривая меня, при этом он внимательно изучил висящую на стене вырезку, но от комментариев воздержался. Вместо этого он водил по моему телу жесткой ладонью, щипля и шупая, как прежде щипали и шупали меня сотни других врачей. И лишь когда он уже выходил, я поняла, что он – другой. Он остановился в дверях и сказал:

– Полагаю, вырезку мы уберем. Повесьте ее где-нибудь в другом месте, пусть остальные читают. А ее от этого избавьте...

---

<sup>4</sup> Белую фуражку в Швеции традиционно получают школьники, успешно сдавшие выпускные («студенческие») экзамены, дающие право на высшее образование.

В тот же день пришла санитарка с мотком скотча и сделала, как он велел. Управившись, она попыталась угостить меня стаканом сока, и впервые за три недели я смогла открыть рот и выпить.

А через несколько дней он пришел уже с толстенной, сантиметров в десять, папкой и, подойдя прямо к моей кровати, взял меня за левую руку.

– Ну как, может, сегодня будем давать показания?

Я тупо посмотрела на него и не ответила.

– Дело плевое, – сказал он и ущипнул меня за руку. – Одно пожатие значит «да», два – «нет».

Я хорошо помнила эту систему сигналов. Самую первую в моей жизни. Времен интерната для детей-инвалидов.

– Тебе, видимо, известно, что тебя всесторонне обследовали и установили диагноз. А еще что-нибудь ты про себя знаешь?

Я отодвинула руку. Ни к чему это.

– Не нужно дуться, – продолжал он. – Ты знаешь, где ты родилась? И кто твои родители? Да или нет? – И он снова, уже крепче, ухватил мою руку. – Ну? Да или нет?

Я сдалась и, закрыв глаза, дважды пожала ему руку. Он тотчас отпустил мою, пошел к окну и уселся на подоконнике, обхватив руками колени.

– Нет, это вообще фантастика, елки-палки, – сказал он. – Значит, лежим тут, рассуждаем насчет астрономии и физики элементарных частиц – читал я твои сочинения, – а о себе самой ни фиги не знаем...

Он умолк и принялся рыться в папке. Я следила за ним, толком не видя. Была поздняя осень, и уже начинало смеркаться, – я различала только его силуэт. Наконец он встал и снова подошел к кровати.

– Ведь у нынешнего твоего положения есть причина. И объяснение. У всего есть причина и объяснение. И я могу их тебе изложить. Вопрос в том, хочешь ли ты их услышать?

Я ухитрилась обхватить его руку и сжала ее изо всех сил. Дважды.

– Ага, – отозвался он спокойно. – Как хочешь. Но завтра утром я приду опять...

А мог бы добавить: и послезавтра, и каждое утро – до окончания времен.

Вот он приоткрывает дверь, и золотое перо солнечного света падает из коридора на пол.

– Доброе утро, сударыня, – произносит он, как произносил каждое утро все эти пятнадцать лет. – Ну и как?

Я отвечаю цитатой:

– «О капитан, мой капитан...»<sup>5</sup> Ухмыльнувшись, он шаркает к оконной нише.

– Я еще не умер. А как там наши сестрицы?

Когда он наконец устроился на подоконнике, я выдуваю ответ, и на мониторе вспыхивает:

– Они получили примерно то, чего заслуживают... Он смеется:

– Я и не сомневался. Попались, бедняжки, тебе в лапы...

Было время, когда я верила, будто это он насылает эти мои сны наяву. Я их называла так. Другое слово – галлюцинации – звучало слишком тревожно.

Как-то вечером – как раз накануне нашей первой встречи – на жестяной подоконник снаружи моего окна села чайка. Самая обычная сизая чайка – серые крылья и желтые лапки. Но тем холодным и серым ноябрьским вечером чайка никак не могла появиться здесь – в это время года ей полагалось лететь над водами Гибралтара. И мне тоже никак невозможно было оставить собственное тело и внедриться под ее оперенье. Но внезапно я оказалась там, в глубине, окутанная белым шелковистым птичьим пухом.

---

<sup>5</sup> Цитата из известного стихотворения Уолта Уитмена, посвященного гибели Авраама Линкольна.

Сперва я не поняла, что произошло, просто задохнулась, зачарованная, погружаясь в чудесные глубины этого существа. Кишки в ее животе мерцали перламутром, влажно поблескивала красно-коричневая печень, а кости скелета были пустотелые и хрупкие, словно Великий Насмешник взялся было выстругать себе флейту, но устал и бросил и, улыбнувшись, превратил свое творение в самую крикливую и противноголосую из птиц. Только увидев под собой землю, я поняла, где нахожусь, – внутри черного чаячьего глаза.

Вовек не забуду охватившего меня ужаса, с которым я вернулась обратно в собственное тело, и сотрясающего грохота. Я завопила. Из моего разинутого рта вырывались булькающие гортанные вопли, истерический перебор всех гласных. Кто-то забежал по коридору, зацокали каблучки, секунду спустя к ним присоединились другие, такие же звонкие. Три тетеньки в белых халатах сгрудились в дверях, но в тот же миг чайка взмыла вверх и пропала.

За тем вечером последовал другой.

Сначала мне было очень страшно. Даже когда муха прогуливалась по потолку, я поспешно зажмуривалась, уговаривая себя, что должна защитить свой разум, ибо разум – единственное, что я имею и что вообще стоит иметь. Иногда это помогало, иногда нет. И тогда иной раз вдруг оказывалось, что я сама уже разгуливаю по потолку, разглядывая сотни изображений лежащего на моей постели существа сквозь призмы мушиных глаз. А после неожиданно отрываюсь и ору, падая обратно в себя...

– У нее кошмары, – наябедничала сиделка во время обхода. – Каждую ночь просыпается и кричит...

– Вот как, – ответил Хубертссон. – Это хорошо. Замечательно.

Но, увидев их постные мины, переменил тон и назначил мягкое успокоительное.

В ту пору он был еще шикарный мужчина, не живописная руина, как теперь, а именно что шикарный. Чем и пользовался вовсю. Каждый четверг он уезжал в «Стандарт-отель» в Норчёпинге, а утром в пятницу являлся с изрядным опозданием и с какой-то сытостью во взгляде. Девушки из нашего отделения редко оставались равнодушны, то и дело взгляд одной из них задерживался на его глазах чуть дольше, чем позволяют приличия. Купая меня или меняя постель, они то и дело обсуждали его и тех женщин, с которыми он переспал. По крайней мере, начинали с этого. Потом, когда они вдруг осознавали, что он приходит ко мне практически каждое утро, вокруг меня замыкался невидимый круг молчания. Недоуменного и обидного.

Мне ведь и самой было непонятно, я не знала, что ему нужно. Вообще-то в моей жизни и раньше попадались заинтересованные врачи, особенно в те времена, когда я была прилежной дурочкой и собиралась сдавать отборочный экзамен, но таких, как он, не было. Он просто приходил. День за днем. Утро за утром. Иногда не говорил ни слова, иногда болтал часами. Я узнала его взгляды на политику и на положение в мире, его мнение насчет кризиса ученого сообщества и системы специализации врачей (в корне порочной!), плюс кое-какие пикантные подробности из жизни его сокурсников и коллег. Если честно, все это было мне категорически неинтересно.

Иногда он меня пугал. Если он приходил рано, до рассвета, до того как я успею вполне проснуться, то в моей голове, случалось, вспыхивали какие-то детские воспоминания, так что меня на миг охватывала паника. Тень! Но едва он подходил к оконной нише, как мое бешено колотящееся сердце утихало. Та тень из детства никогда не отступала от кровати так далеко, норовя быть поближе к беспомощности, тешащей вождление. Но Хубертссон не вожделем моего бессильного тела. Он желал иного, того, чего от меня никто и никогда прежде не хотел.

К концу зимы я привыкла, я совсем забыла про его первый визит и про вопросы, которые он тогда мне задавал. Но однажды апрельским утром он снова появился со своей толстой папкой. И, положив ее у меня в ногах, взял меня за левую руку.

– Имя твоей матери – Эллен Юханссон, – сообщил он.

Я попыталась отдернуть руку прочь – так яростно, как только могла, – но он не отпускал.



– Ты родилась в родильном отделении больницы в Мутале тридцать первого декабря сорок девятого года. Без одной минуты двенадцать.

У меня снова начались судороги, как всегда, стоит мне разволноваться. Я постаралась зажмурить глаза, чтобы закрыться от него.

– Детей у нее больше не было. Тем не менее у тебя есть три сестры.

Я открыла глаза, он заметил это и понял, что я у него на крючке.

– Это Эллен решила назвать тебя Дезире, что значит – желанная...

Я вытаращилась на него с ненавистью. Сколько лет с тех пор мне слышалось издевательство в собственном имени!

– По всем признакам ты должна была родиться здоровенькой.

Спасибо. Это обнадеживает.

– Но у тебя была желтуха новорожденных. Довольно выраженная. А делать в подобных случаях переливание крови еще не научились. Вот откуда у тебя энцефалопатия<sup>6</sup>.

Посасывая нижнюю губу, он продолжал листать документы, лежавшие в папке.

– Кроме того, мозг был частично травмирован во время самих родов. Отсюда эпилепсия и еще кое-какие нарушения. Возможно, и мозговое кровоизлияние. Тазовые кости у Эллен имели рахитическую деформацию, и рожала она часов тридцать. В те времена кесарево сечение почти не применялось...

Значит, она умерла во время родов? Значит, вот почему меня бросили? Мной овладело нетерпение. Я сжала ладонь Хубертссона, давая понять, что у меня к нему есть вопросы. Но к тому времени я уже несколько месяцев не произносила ни слова, и голос возвращался не сразу, сперва выходили только стоны и невнятное бормотанье. Видимо, Хубертссон решил, что мое мычание и явно не конвульсивные движения означают протест. И, не отводя глаз от листка бумаги, он еще сильнее стиснул мне руку и прижал ее к подушке.

– Голова у тебя была сильно повреждена, но тем не менее ты родилась в сорочке...

Ну и что же с того? Разве это я хотела узнать? Я была в бешенстве – в таком бешенстве и отчаянии, что попыталась плюнуть ему в лицо. Но безуспешно – я не сумела попасть в такт собственных конвульсий, и плевок угодил в стенку. Но хватило и этого – мою руку он выпустил. Потом выпрямился, отступил назад и глянул на меня.

– Я ведь тоже родился в сорочке. Ты же знаешь, что это к счастью?

Он скорчил гримасу и тут же попытался превратить ее в подобие кривой улыбки.

– Стало быть, мы с тобой люди особенные. Везунчики.

Он замолчал и отвел взгляд, посмотрел в окно, а потом сказал все тем же небрежным тоном:

– Собственно, я не должен был этого говорить, но дело в том, что я знаю твою мать – Эллен то есть. Когда-то я снимал у нее квартиру, а теперь даже лечу ее. Вернее, то, что от нее осталось.

– Соберись-ка, – говорит он мне сейчас. – Ты, по-моему, где-то витаешь. Как жизнь?

Сморгнув, я возвращаюсь к нему сегодняшнему. Он стоит в изножье моей кровати, смутная тень в предвесеннем рассвете. Свет его портит, высасывает краски из его лица, делая его каким-то пергаментным. Я поспешно выдуваю ответ:

– У меня все ОК. Сам-то как?

Вопрос повисает на экране без ответа. Придется повторить:

– Эй! Как твои анализы?

---

<sup>6</sup> Речь, по-видимому, идет о так называемом синдроме Криглера-Найара, характеризующемся крайне высоким содержанием в крови новорожденных белка билирубина, оказывающего токсическое действие на мозговые клетки, нередко приводящее к энцефалопатии и летальному исходу.

Он пожимает плечами:

– Чего пристала...

Но я не отстаю и от волнения дую с такой силой, что пропускаю букву.

– Я серьезно. Ты сдавал анализы?

Он глубоко вздыхает.

– Ну сдавал. Все примерно так, как и следовало ожидать. Пришлось принять соответствующие меры...

– Дополнительно инсулин? Что, сегодня тоже?

– Угу...

– На самом деле можно бы и поаккуратнее!

Он торопливо проводит рукой по лицу, а потом пристально смотрит на меня:

– Отвяжись.

Но я не собираюсь отвязываться. Ухватив мундштук трубки, я торопливо выдуваю в ответ:

– Твои анализы были бы лучше, если бы ты пил поменьше!

Не знаю, что на меня нашло. Ни разу за все эти годы – даже после той новогодней ночи, когда он напился до бесчувствия у меня дома, – я и виду не подавала, что вижу, как ему хочется выпить и забыться. Таково было условие, параграф первый молчаливого соглашения, на котором зиждилось наше общение. Я могла позволить себе и насмешку, и дерзость – но не навязчивость! Поэтому ужас шевельнулся у меня в животе – я преступила запрет, и он меня покинет! Но нет. Оторопев от изумления, он нашелся с ответом:

– Ах ты боже мой! Это уже, елки-палки, прямо семейные сцены пошли!

Он снова идет и усаживается на подоконник. А у меня даже мундштук выпал изо рта. Семейные? Никогда прежде он так не говорил. Даже не намекал. Мне-то, признаться, случалось фантазировать на эту тему, я воображала, как Великий Насмешник крадучись приближается по коридору в темно-синей мантии и звездной короне, словно театральный Зевс, чтобы сделать меня невестой Хубертссона. Вот он кладет на мое тело свою врачующую длань – и в тот же миг мои ноги выпрямляются. И обретают мышцы – безупречные мышцы, наполненные кровью, – руки наконец успокаиваются, а лицо разглаживается. Тощие кожаные кармашки – моя нынешняя грудь – округляются, становясь пышными, лилейно-белыми, – и каждую округлость украшает маленький изящный сосок – алая земляника на блюде взбитых сливок. А редкие космы на моей голове в то же самое мгновение превращаются в роскошную гриву. Пожалуй, в каштановую. Потому что увенчать всю эту красоту золотистой шевелюрой было бы некоторым перебором – эдак Хубертссон перепугается и задаст стрекача, не дождавшись брачной ночи. А я не собираюсь его пугать, просто когда он в последний раз придет на утренний обход, я буду сидеть на самом краешке кровати, ослепительная в своем подвенечном наряде. Как Золушка.

– Над чем это ты смеешься?

Поймав мундштук губами, я лгу, как заправская жена:

– Я не смеюсь.

Он фыркает и снова поворачивается ко мне спиной. За окном уже развиднелось, рассеялась серая предрассветная мгла. День, пожалуй, будет погожим. Клочок неба за спиной Хубертссона сверкает льдистой голубизной. Но от нового освещения толку мало. Его лицо осталось таким же изжелта-бледным, исчерченным глубокими, как никогда, морщинами. У меня щемит внутри, когда я смотрю на него. Мой муж? Пожалуй. В известном смысле.

Не то чтобы я много знала о супружестве – куча романов да несчетное количество сериалов, вот и все мои познания, – но виденное и прочитанное во многом напоминало то, что происходило между ним и мной. Вот уже полтора десятка лет мы кружим друг вокруг друга, постоянно, все по тем же орбитам, словно пара заблудившихся электронов с одинаковым зарядом, не способных ни слиться друг с другом воедино, ни расстаться. Мы говорили – днями, неделями,

месяцами и годами; но неизменно молчали о том, что прожгло в нас самые глубокие дыры. И оттого мы так часто ныряли в глубины моего детства и лишь едва касались самой поверхности детства Хубертссона. И оттого же я знала куда больше о его работе и пациентах, чем о недолгом его браке, который остался в глубоком прошлом еще тогда, когда мы только встретились. И так же точно мы обходили с ним широкими кругами все, что касается самого важного в моем существовании. Его взгляд предостерегал меня: не рассказывай о том, что умеешь. Поэтому пришлось представить это как игру. Я играю в Шехерезаду, а он притворяется врачом, просто позволяющим себя забавлять одной из пациенток, не лишенной дара рассказчицы. Вот так мы прчемся друг от друга в хитрых китайских шкатулочках мнимого здравого смысла.

Иногда мне жалко, что Хубертссон при всей своей незаурядности в глубине души настолько зауряден. Он страдает богобоязнью; его пугает самая мысль о том, чего он не может понять. Поэтому его не интересует природа материи и Вселенной, и поэтому он зевает, когда я принимаюсь ему бодро рапортовать об успехах физики частиц за последние годы, и поэтому он нервничает, когда я развлекаюсь рассуждениями о том, что время повернет назад, едва Вселенная прекратит расширяться и начнет сжиматься обратно. Он не находит в этом ничего забавного. И наоборот, ему кажется очень забавным, что я могу выдумать про моих помощников и весь приютский персонал множество правдоподобных историй, причем все они одна за другой рано или поздно подтверждаются жизнью. Он говорит, у меня очень развита наблюдательность. А иногда даже милостиво именует ее интуицией.

Ну вот, он вроде бы немного повеселел.

– Что, ночью случилось что-нибудь?

Есть надежда на прощение. Я вкрадчиво прихватываю мундштук.

– Да. Я убила чайку.

Вид у него удивленный.

– Зачем это?

Хотела бы я сказать правду – затем, что я видела сон Кристины. И покуда я выдуваю заведомо лживый ответ, перед глазами вспыхивает подлинное воспоминание: блестяще-черное окно Кристининого дома, чайка садится на жестяной подоконник снаружи ее спальни, а внутри чайчьего глаза сижу я сама. Сны Кристины бледным туманом висели в комнате над ее кроватью. Поначалу они были размытые и невнятные, но мгновение спустя проступила четкая картинка: три девочки на вишневом дереве. А потом – Эллен: она идет с подносом, а на подносе – три стакана морса. Очки у нее съехали на самый нос, и она весело поглядывает поверх них.

И все. Но мне хватило и этого.

Мой гнев распускался, как морской анемон, я видела его, это темно-красное ядовитое существо, тянущее свои щупальца во все стороны, – к предательнице Эллен, к Кристине, Маргарете и Биргитте – проклятые воровки! И внезапно мой гнев охватил щупальцами весь мир, и чайку тоже, и я велела ей взмыть в небо и заставила ее с надсадным криком летать и летать против ветра широкими кругами, пока крылья ее не обессилели и тело не задрожало мелкой дрожью. Тогда я развернула птицу и велела ей спикировать со страшной высоты вниз, на Сонггатан, прямо в красную кирпичную стену дома моей сестры.

Но эта правда Хубертссону покажется помешательством и безумием. Посему ограничиваюсь коротким ответом:

– Да просто чайка металась туда-сюда...

Хубертссон морщит лоб.

– Что, тебя опять трясло?

Я не отвечаю. Чернота моего экрана заставляет его встать с подоконника и подойти. Он становится в ногах кровати и пристально разглядывает меня, прищулив глаза.

– Было дело, а? Ты ведь испугалась? И все из-за этой троицы?

Чудовищный сильный спазм швыряет мою руку на сетку кровати. Он это видит – но не реагирует.

– Что-то я не пойму, – говорит он. – Другие истории прямо фонтаном из тебя бьют, а эта – в час по чайной ложке. Про них ты почему-то боишься выдумывать небылицы, а? Разве ты не понимаешь, что именно поэтому и надо про них сочинять!

Я хватаю мундштук:

– Доктор, вы теперь еще и психоаналитик?

Он фыркает в ответ. Потом отходит к столу и поглаживает ладонью черную папку.

– Нужны дополнительные материалы?

Я издаю звук, который следует понимать как «нет». Мне не нужно дополнительных материалов. Несколько лет назад он уже познакомил меня с содержимым черной папки. Она полна журналов, фотографий и газетных вырезок о моей матери и сестрах. Большую их часть я знаю наизусть.

– Что ты сказала?

Я снова хватаю мундштук и принимаюсь дуть:

– Нет. Мне больше ничего не нужно. На этот раз у меня пошло. Должно получиться...

– Дашь почитать?

– Нет. Пока что нет. Не раньше, чем закончу эту повесть.

Он поворачивается ко мне спиной и якобы разглядывает картину на стенке, бессмысленный эстамп из «Икеи», засунув руки глубоко в карманы. Мне страшно, что он вот так отвернулся, и я взываю, дую в трубку с такой силой, что слюна заливает мне рот.

– Эй! На этот раз я не намерена сдаваться! Обещаю!

Услышав, что я кончила пыхтеть, он поворачивается, читает и улыбается. Он простил меня.

– Вот и славно.

Молчание. Наши глаза встречаются. И лишь теперь я замечаю – чего-то не хватает, маленькой искорки, которая всегда мерцала в самой глубине его взгляда. Я понимаю, что это значит, – это понимает каждый, кто прожил всю свою жизнь по больницам. Надо торопиться.

Мои челюсти сжимаются, намертво закусив мундштук. В то же мгновение голову мою с такой силой швыряет в сторону, что резиновый шланг натягивается в воздухе, как грязно-желтая струна. Хубертссон, подойдя, осторожно выкручивает мундштук у меня изо рта. Кожа его все еще пахнет миндалем. У этого запаха есть цвет. Всю комнату внезапно заливает расцветный румянец.

Значит, теперь мне уже не отвертеться. Настала пора взять моих сестер в оборот. Но не сейчас. Чуть позже. А сейчас я закрою глаза и минутку понежусь в миндальном аромате.

## Во внешней области

*Световые конусы прошлого и будущего для данного события делят пространство-время на три области... Область пространства, не лежащую внутри световых конусов прошлого и будущего, мы будем называть внешней.*

*Стивен У. Хокинг*

Письмо странное, непохожее на другие. Конверт – использованный, вскрытый, снова заклеен скотчем, имя прежнего адресата энергично зачеркнуто прямыми штрихами шариковой ручки, а имя Кристины написано рядом. Почерк кажется неестественным, словно грубая подделка. Буквы валяются в разные стороны, некоторые словно бы оборваны в спешке, а другие снабжены прихотливыми завитушками. Прежняя марка в правом верхнем углу конверта отодрана, а три новые, явно избыточного номинала, неровным рядом наклеены в левом. Но штемпеля на них нет – значит, не почтовая служба позаботилась о том, чтобы это письмо попало в Кристинин почтовый ящик.

Астрид, думает она, и земля уходит у нее из-под ног, покуда она не вспоминает, что Астрид умерла, что уже три года как ее нет. И в этот миг сама же осознает, что собственное ее тело в это так и не поверило, как она ни пыталась заставить свои глаза смотреть, а руки осязать, – руки, что были тогда еще белее, чем у Астрид. Но ни мышцы, ни кости, ни нервы ей не верят и реагируют так, словно Астрид все еще жива: крестец сводит судорогой, и боль растекается оттуда, свинцовым поясом охватывая бедра.

Хоть она и врач – а быть может, именно поэтому, – Кристина не знает иного способа бороться с болью, кроме как игнорировать ее. Подняв очки на лоб, она близоруко склоняется над конвертом, силясь разобрать имя прежнего адресата. Но в скудном сероватом утреннем свете сквозь синюю штриховку удастся разобрать только отдельные буквы – А, Е, С. Тогда она пытается указательным пальцем вскрыть конверт, но и это не удается. Скотч слишком плотный. Нужны ножницы.

Не Астрид, нет, думает она, бредя назад к дому и вертя в руках конверт. Биргитта. Конечно же Биргитта. Значит, придется звонить Маргарете, а та, само собой, станет дуться, потому что мы не виделись уже много лет... Вообще-то сколько же можно притворяться сестрами?

Мертвая чайка заставляет ее забыть о письме – она спотыкается о трупик и, обретя наконец снова равновесие, машинально сует странный конверт в карман халата. Потом, отступив назад, видит белесую пленку, затянувшую черные птичьи глаза, и, скривившись от отвращения, закусывает верхнюю губу.

Из всех сил прижимая к груди «Вадстена тиднинг» и «Дагенс нюхетер», она почти вприпрыжку несется назад, к кухонной двери, шлепая резиновыми сапогами. Там, на кухне, стоит Эрик и режет хлеб к завтраку, щеки у него розовые от бритья, а светлорыжие волосы потемнели, мокрые после душа. Он устремляет свои бледно-голубые глаза на нее, пока она стаскивает с себя сапоги, и на какое-то невеселое мгновение она видит себя его взглядом: тощую, в мятой ночной сорочке, с не чесанными после сна пепельными волосами. И, поспешно затянув на талии пояс халата – он волочился за ней, как хвост, все время, пока она была на улице, – завязывает его узлом и старается изо всех сил, чтобы голос звучал как можно более спокойно и небрежно:

– Там в саду лежит мертвая птица. Чайка...

Он идет к дверям и выглядывает наружу, все еще держа нож в руке.

– Где?

Вытянув шею, он идет на цыпочках, а она становится у него за спиной, чтобы видеть под тем же углом. Вокруг него витает слабый запах мыла, и она подавляет внезапный порыв – обхватить его руками за шею и зарыться лицом в этот запах. Но так можно здорово увлечься. Они опоздают.

На расстоянии серо-белую птицу не видно, она сливается с грязным снегом на блестяще-черном гравии на дорожке.

– Вон, – говорит Кристина и показывает рукой из-под его локтя. – Прямо под сиренью. Видишь?

Теперь он видит – неестественно вывернутую головку, распростертые крылья и полураскрытый клюв. Молча кивает и идет за пластиковым пакетом.

А после в саду, сунув обе руки в пакет, подбирает птицу, ловко выворачивает пакет и завязывает его.

– Тяжелая, – произносит он, входя в кухню. – Хочешь, попробуй?

И, подняв пакет, взвешивает его в руке, уже готовый выдать теорию, объясняющую данный факт.

– Шею сломала. Вероятно, врезалась прямо в стену, я вроде бы слышал удар в половине пятого, но решил, что это ветер... А ты ничего не слыхала?

Кристина молча качает головой. Эрик смотрит на нее, потом на пакет.

– Больная, наверное, здоровые птицы не врезаются в дома... Ладно, не будем заикливаться. Пойду выкину ее в бак.

Потом он долго полощет руки под струей горячей воды – так долго, что из белых они становятся красными, а бледные веснушки на них делаются неразличимыми.

Кристинин профессор.

Так Эрика обычно называет Маргарета. Хотя он, собственно говоря, не профессор, а вот уже много лет топчется в доцентах.

Однако в Маргаретиной характеристике что-то есть. Эрик и правда чем-то смахивает на карикатурного профессора. У него узкие плечи и бледная кожа, и когда волосы просохнут после душа, то подымутся дыбом, образуя всклокоченный венчик из рыжих кудрей вокруг почти совершенно голой макушки. Прическа «а-ля Эйнштейн», хохочет Маргарета где-то в глубинах Кристининой памяти, но сегодня Кристине не хочется смеяться над Эриком, и она плотнее сжимает губы.

Не потому, что Эрик может вдруг заметить, как она снисходительно ему улыбается через накрытый для завтрака стол. Он ушел с головой в «Дагенс нюхетер» и рассеянно, вслепую водит над столом ножом для масла. Бывали утра, когда Кристина нарочно передвигала масленку по столу туда-сюда, и пока он тыкал ножом мимо масла, она с интересом ждала – когда он наконец оторвется от газеты? Рекордное время – восемь минут.

В то время они жили в Линчёпинге, и их дочери-двойняшки находились в самом свинском подростковом возрасте. Усевшись по разные стороны кухонного стола – Оса возле мамы, а Туве возле папы, – они молча следили за перемещениями масленки. Когда Эрик наконец ошарашенно поднимал взгляд, Кристина, не выдержав, прыскала, но Оса только хмурилась, а Туве фыркала. И обе вставали как по команде и с грохотом, исполненным презрения, задвигали свои табуретки под стол, хором обличая: «Господи, вы прямо как малые дети!»

Да, думает Кристина. Пожалуй. Во всяком случае – Эрик. Он – как малое дитя в лучшем смысле слова, ибо до сих пор продолжает удивляться миру.

В большинстве своем мужчины перестают изумляться окружающему миру где-то в самом начале полового созревания и оставшуюся часть жизни посвящают покорению этого мира. Эрик же все еще полон любопытства. И сражается не ради победы, а ради познания.

Но теперь он все-таки поедет. Наверху в спальне разинул пасть чемодан, только и ждет, когда ему дадут заглотнуть последнюю рубашку. Пять месяцев Эрика не будет – пять месяцев Кристине придется жить одной. В первый раз – раньше с ней рядом были девочки. Но теперь они выросли, учатся в Упсале и в Вадстену заглядывают изредка, пару раз в год, и то ненадолго.

Кристину это не огорчает. Напротив. Лицу своему она, конечно, придала подобающее печальное выражение, когда Эрик с виноватым видом рассказывал ей, что его снова приглашают за границу для каких-то исследовательских проектов и что придется все-таки поехать, но в глубине ее души золотой рыбкой плеснула радость: наконец она проживет спокойно.

Она улыбается про себя, подумав, сколько у нее впереди завтраков в одиночестве. Черный кофе. Свежевыжатый апельсиновый сок. И маленькие белые тосты с чеддером и мармеладом. Она выкинет его овсянку и мюсли тут же, как вернется из аэропорта. А еще, может быть, заведет себе кошку...

Как всегда, стоит ей раз мечтаться о свободе, он словно что-то чувствует. Складывает газету и смотрит на Кристину:

– А может, возьмешь отпуск на пару недель в мае? И приедешь ко мне?

Кристина лживо улыбается. Вообще-то в мае она намерена сидеть у себя в садике и любоваться распускающейся сиренью, очень ей нужно париться в Техасе, задыхаясь от пыли в университетском городке.

– Попробую. Все зависит от Хубертссона. Если придется его подменять, тогда вряд ли что получится...

Этого достаточно, атака отбита, он кивает и снова раскрывает газету. Болезнь Хубертссона его раздражает, ему неприятно о ней слышать. Врач, способный так запустить собственный диабет, доведший себя пьянством и излишествами до угрозы ампутации, у людей благоразумных вызывает тревогу и смутнение. А Эрик благоразумен.

И все-таки когда Кристина видит, как он морщит лоб над передовицей в «Дагенс нюхетер», ее, как и много раз прежде, заполняет та же стыдливая нежность. Он – мой мужчина, думает она. Да и больше того, мой освободитель и защитник. Никогда я не видела от него ничего, кроме добра, – и все-таки жду не дождусь, когда он уедет!

Она импульсивно подымается и подходит к нему, нагибается и целует в лысую макушку.

– Я по тебе уже скучаю, – говорит она.

На какой-то миг она ощущает его сомнение – каждый его мускул напрягся, но тут же обмяк. И вот он встает, обхватывает ее руками и целует ее шею, щеки и уши. Так было всегда – за один поцелуй она получает много. Даже чересчур много. Ее любовь оказывается слишком мала и тонет, захлестнутая волной его любви. Теперь ей надо обуздать собственную чувственность и, оперевшись ладонями в его грудь, мягко отстранить его. Одна мысль о близости пугает, грозя на месяцы вперед омрачить душевный покой их обоих – в памяти останется не ее поцелуй, а ее холодность.

Но вот он словно замер, он ее больше не целует, только стоит, крепко прижав ее к себе, и это объятие волнует куда больше.

– Я тоже по тебе скучаю, – произносит он наконец и гладит ее по голове.

Кристина, высвободившись, сует руки в карманы. И, наткнувшись там на конверт, спохватывается. Письмо! Странное письмо.

– Вот, смотри, – говорит она и протягивает ему конверт. – Лежало в почтовом ящике, когда я брала газеты.

Но Эрик уже сел и снова уткнулся в «Дагенс», скользнув по конверту рассеянным взглядом:

– От кого это?

Кристина, пожав плечами, приносит ножницы.

– Не знаю...

И, вцепившись в конверт, осторожно отрезает миллиметровой толщины полоску по его верхнему краю. Он толстый, письмо, должно быть, на много страниц.

Но, вытащив из конверта его содержимое, она решает было, что обозналась, что это вовсе не письмо, а просто клочок розовой шелковистой бумаги, в которую тщательно упаковано что-то маленькое и ценное. Однако, когда она разворачивает розовую бумагу на кухонном столе, ничего ценного из нее не выпадает. Кажется, упаковка пуста. Лишь через какое-то время она видит текст – в самой середине розового листка несколько крошечных строчек шариковой ручкой, каждая буква – не выше двух миллиметров.

Кристина придвигает настольную лампу, поворачивает абажур, чтобы свет падал на розовую бумагу, и читает:

Я – желанная.  
Я – никогда не приду.  
Я – забытая сестра.

И там же несколькими сантиметрами ниже – крохотные каракули:

Я тоже сидела на старой вишне в саду у Тети Эллен,  
Хоть вы меня и не замечали!  
Тетя Эллен, тарантул в тарантелле!  
Паук или танец?  
Паук!

– Гадость! – час спустя произносит Кристина, переключаясь на пятую скорость. – Бред, гадость и психоз и больше ничего. Что теперь еще за комедию она устроила? Я уж надеялась, что с этим покончено, что репертуар исчерпан. Мы уже видели «Бедную Биргитту – жертву клеветы», «Безвинную Биргитту, несправедливо обвиненную и привлеченную за употребление наркотиков», не говоря уже о целой серии спектаклей на тему «Мужественная Биргитта завязала с наркотой, но обстоятельства сильнее, и она снова срывается»! До чего я от нее устала! А Маргарета как надоела! Господи, чего ради надо продолжать эту игру в старшую и младшую сестричку, когда обеим уже под пятьдесят? Ну да, мы прожили какое-то время вместе, но ведь ни Биргитта, ни Маргарета ничего тогда для меня не значили. А значила Тетя Эллен! Сегодня у меня с ними обеими нет решительно ничего общего. Ничего! Ровным счетом! Ноль!

Эрик кладет руку ей на плечо:

– Ты слишком разогналась, успокойся. Не бери в голову, выкинь это письмо и включи автоответчик и определитель номера, чтобы знать, кто звонит. Рано или поздно они поймут, что тебе это неинтересно...

– Ха! – отвечает Кристина. – Можно подумать, на Биргитту действуют деликатные намеки. Или на Маргарету. Нет, тут нужна тяжелая артиллерия – что-то я пока не замечала за ними обеими особой тонкости восприятия...

Эрик смеется, и от этого хорошо знакомого кудахтанья ее гнев утихает, она поворачивается к нему и видит, как его кудри сверкают червонным золотом в солнечном свете. Серенькое утро высветлилось до сверкающего предвесеннего дня – с высоким яркоголубым небом и искрящимися на солнце редкими пятнами снега среди черных влажных полей.

Она взяла выходной и сможет отвезти его прямо в аэропорт, в Арланду. До самолета еще уйма времени. Она сбрасывает скорость. Спешить незачем, и можно позволить себе наслаждаться теми несколькими часами, что осталось им провести вдвоем.



Но Эрик наслаждаться не хочет. Едва они выезжают на шоссе, как ему уже невольно смирно сидеть на пассажирском месте. Его тон делается брюзгливым:

– Что, уже запланировала великие свершения в «Постиндустриальном Парадизе», пока меня не будет?

Кристина, вздохнув, сдерживается, чтобы не съязвить в ответ. Двадцать три года сопровождает ее эта брюзгливая ревность, раздражая больше всего остального. Когда-то ей казалось, что с годами это пройдет. Ревновать к собственному дому? Такого быть не может. Оказалось – может. Эрик ревнует ее к их дому. И при всем своем раздражении Кристина вынуждена признать, что для ревности у него есть основания. Она так страстно любит «Постиндустриальный Парадиз», что не в силах этого скрыть.

Когда девочки перебрались в Упсалу, Эрик охотно признал, что дом в Линчёпинге слишком велик и что все справедливо: теперь его очередь ездить на работу в Линчёпинг, раз она столько лет моталась на работу в Вадстене. Но когда она показала ему этот красный домик восемнадцатого века, выяснилось, что у Эрика несколько иные планы. Собственно, он-то собирался жить в квартире. И что в центре Линчёпинга есть совершенно замечательные квартиры, приличные и удобные и не так уж далеко от Университетской клиники. Может, Кристине подыскать себе работу в Линчёпинге? Перед семейной медициной теперь открываются новые возможности... Всю жизнь Кристина ходила вокруг Эрика на цыпочках, все время настороже – чтобы, не дай бог, не огорчить его и не рассердить. Всякий крик и свара ее пугали. От первого же раздраженного ответа у нее внутри все начинало дрожать от ужаса. Поэтому она тут же сдавалась и уступала с каким-то смутным и постыдным ощущением – не то страха, не то безразличия. Она просто не в состоянии браниться и спорить из-за будничных мелочей. Ее едва хватало на то, чтобы утром подняться с постели – все силы забирала тяжкая тайна, Кристины вечный ужас и омерзение.

И все же она стыдилась, ведь ее покорность была отчасти притворной, – просто способом манипулировать Эриком. Но он вроде бы ничего не замечал. Недалекий, как и все мужчины, он, конечно, даже не сомневался, что ее мнение всегда совпадает с его, ибо оно – единственно здоровое.

Но как только появилась возможность купить этот старый дом в Вадстене, Кристину как подменили. Если бы ей пришлось выбирать между домом и Эриком, она бы выбрала дом. И Эрик, видимо, это понял. Увидев, как она взвешивает в руке кованый ключ от дома, он прекратил все разговоры насчет квартиры в центре Линчёпинга. Молча признав свое поражение. Его хватило лишь на булавоочный укол в отместку: мол, конечно, можно купить этот старый дом, но ей, надо думать, понятно – у него совершенно нет времени приводить его в порядок. Этим пусть уж она сама занимается.

И Кристина занималась этим сама. Пока Эрик сидел в Линчёпинге, она месяц за месяцем все свое свободное время обихаживала старый дом. Отскребала старую эмаль и отмачивала виниловые обои, обдирала ковровые и циклевала старые деревянные полы, она командовала водопроводчиками, электриками, столярами и кровельщиками и одновременно красила шкафы и двери настоящей яично-масляной темперой. Шаг за шагом она восстанавливала причиненные современностью потери. И из всего этого хаоса постепенно вышло нечто целостное – компромисс между домотканой стариной и требованиями современного комфорта. И эта целостность была ее детищем, а не его. Она завоевала дом своими собственными руками. Впервые в жизни Кристина ощутила, что чем-то обладает, и впервые познала наслаждение от обладания.

Но имя дому все-таки дал Эрик. Тогда в только что отделанной гостиной, еще пустой, без мебели, Кристина развела огонь в камине и распахнула двустворчатую дверь, чтобы он увидел, как это красиво – отблески огня, пляшущие на жемчужно-серых стенах. Комната его поразила, он собрался было шагнуть в нее, но замер и так и стоял на пороге – и наконец сказал:

– Все равно что заглянуть в другое время...

Засунув руки в карманы, он сделал три быстрых шага по широким половицам, резко повернулся кругом и стал внимательно рассматривать детали, пока, усмехнувшись, не обернулся к ней:

– Благодарю, Кристина. Ты сотворила постиндустриальный парадиз. В этой комнате словно бы и не было никогда двадцатого века, словно он остался за скобками, как досадная оплошность.

От его шутки ей сделалось неловко, почти стыдно. Внезапно она почувствовала себя дешевой воровкой, приживалкой, нацепившей чужие фамильные украшения. Много недель потом она все размышляла над его словами, пытаясь понять причины этой своей неловкости.

Кристина и прежде знала за собой нездоровое пристрастие к старине и порожденный этим пристрастием ненасытный голод, сопровождаемый горечью и завистью. Эрику этого не понять. Он только пожимал плечами в адрес населявших его собственные гены старых священников и врачей и стонал от раздражения при виде старинных книг и приходской мебели, которую ему и его сестрам заповедано было хранить и беречь. Но зачем ему этот хлам? Он медик, а не антиквар, он и сам прекрасно знает, кто он и откуда взялся, без того, чтобы тащить за собой по жизни все это старье.

Кристине так и не удалось втолковать ему, что сама-то она ощущает лишь собственную принадлежность к классу бесплациентарных Кристин – не рожденных никем. А вылупившихся, как птица или ящерица, из большого белого яйца. Он всплескивал руками и отделялся от нее своими деревянными резонами. Она ведь сама знает, что у нее была мать – Астрид. Если ей этого мало – можно посмотреть по данным переписи населения. А если ее беспокоит, что до семилетнего возраста она ничего про себя не помнит – so what? Она ведь помнит и больницу, и детский дом, и годы у Тети Эллен, и как подростком жила у Астрид. А коли уж ей хочется узнать еще побольше, то достаточно заказать старые истории болезни и документы комиссии по делам несовершеннолетних...

– Ты ничего не понимаешь, – бессильно призналась она однажды. – Мне же не моя история нужна. А чья-то чужая.

Вот ее-то и дал «Постиндустриальный Парадиз». Приобретя этот дом, она тем самым купила себе место в истории, обустроила его для себя, как современные люди устраивают для себя все что их душе угодно. Входную дверь украшала цифра «1812». А само домовладение было еще старше – и на старинной книжной полке ее свежеставленной гостиной лежала коротенькая выписка из «Свода» Старой Вадстены, сообщающая, что первое строение на данном земельном участке было возведено в последние годы четырнадцатого века. Кому из лишенных истории удавалось обзавестись таким солидным ее куском?

А впрочем, любовь не нуждается ни в каких рациональных доводах. Кристина просто любила «Постиндустриальный Парадиз» всем резонам вопреки. Оставшись дома одна, она порой ловила себя на престранных поступках: то прижмется щекой к окну, то гладит стену или встанет и стоит не шевелясь в углу гостиной минут двадцать кряду и просто смотрит, как наплывают сумерки, одевая блеклые цвета подобием ангельского пуха. Однажды она прищипала пальцы, попытавшись обнять дверь. В тот вечер, когда Эрик вернулся домой, она мучилась такой виной, как если бы провела весь день с любовником, и синие пятна на пальцах, казалось, изобличали ее, как других – следы засосов на шее. И Эрик это почувствовал. Накладывая повязку, он слишком сильно сжал ей больные пальцы.

Мой мужчина, подумала она в тот раз, как думала и много раз прежде, и порывисто погладила его по щеке.

Мой мужчина.

Оса и Туве уже стоят и ждут у международного терминала. Эрик, заметив их издали, издает изумленный возглас. Кристина растрогалась, заметив, как растрогался он. Он и не ожидал, что их дочери найдут время приехать из Упсалы в Арланду лишь ради того, чтобы помахать ему на прощанье. Он выскакивает из машины, раскинув руки, и обнимает обеих, прежде чем Кристина успевает заглушить мотор. Когда она наконец выбирается из машины, все трое стоят голова к голове, положив руки друг другу на плечи, словно футбольная команда перед матчем. Лисицы, думает она. Футбольная команда «Лисицы». Или годовое собрание Союза Рыжих. Я тут лишняя.

Она обстоятельно запирает машину и направляется к ним.

Оставшиеся часы заполнены шумом и суетой... Эрик порхает между стойкой регистрации и газетным киоском со всякой мелочью, пока девчонки, будто сто лет не ели, обсуждают обед в «Скай-Сити». Однако до ресторана все добираются только через час – девчонкам по дороге надо заглянуть в каждый магазинчик. Эрик, улыбаясь, платит в припадке небывалой щедрости. Новые сумки? Конечно. Фирменные, от «Mulberry». Каждой новую кофточку? Само собой, ручной вязки, в фолк-стиле. А, еще и вареники? Ха, мелочи какие, гулять так гулять!

А потом, после того, как самолет улетает, а девчонки прыгают в упсальский автобус, крепко держа пакеты с покупками в обеих руках, Кристина легкой походкой идет к стоянке. Слабый ветерок приятно обдувает лицо и ерошит волосы, и на секунду начинает казаться, что можно вот так подняться в воздух и полететь. Она свободна. Совершенно свободна. Не нужно ни следить за временем, ни готовить обед, никто тебя не ждет – ни дети, ни пациенты.

Впервые за эти двадцать с лишним лет она принадлежит только себе самой.

Нажав на педаль газа, она запускает мотор и под его бодрое урчанье задом выезжает со стоянки.

Тоска нападет много позже. Кристина припарковалась у Нючёпингского моста, чтобы выпить чашечку кофе, и уже выходя из кафетерия, ни с того ни с сего вспоминает колючую щеку Эрика у своей щеки, а потом – нежные, как шелк, щечки девчонок. Ощущение чисто физической утраты, тяжелой, пульсирующей боли под ложечкой: моя семья! Всего четыре часа назад мы сидели все вместе за столиком в ресторане и болтали наперебой, а теперь стало так тихо, словно никого из них и не было на свете... Но я хочу, чтобы все они были, рядом со мной, вокруг меня!

Она останавливается возле парковки и несколько раз глубоко вздыхает – уже смеркается, воздух прохладный и влажный. Вдалеке у пустой стоянки для грузовиков, вытянувшись, застыл по стойке «смирно» перелесок, словно римская когорта в ожидании приказа. Но приказа нет. В мире все замерло, ни ветерка, ни шевеленья, и даже отдаленного шума мотора не слышно почти целую минуту. Кристина плотней закутывается в свое широкое манто и смотрит на небо. Оно сиреневое и пустое, ни облаков, ни звезд, ни даже самолета.

Все уехали, думается ей. Их больше нет и меня тоже нет – для них...

Одиноким прохожим идет к ней наискось через стоянку, и его взгляд заставляет ее собраться – с преувеличенным усердием она начинает рыться в сумочке, ища ключи от машины. Уже в машине она зажигает свет и принимается разглядывать свое лицо в зеркале заднего обзора. Когда они прощались, глаза у Эрика блестели, Оса всхлипывала, а Туве плакала не таясь; сама же она просто стояла, не чувствуя ровным счетом ничего.

– Что же я за человек? – спрашивает она вслух у собственного отражения и тут же повторяет громче, словно беседа с тугим на ухо пациентом: – Что же я, собственно, такое?

Спустя несколько часов машина уже подпрыгивает на булыжниках Сонггата. «Пост-индустриальный Парадиз» стоит, словно молчаливое обещание, в свете одинокого уличного фонаря, под защитой старинной Красной башни на другой стороне улицы. Припарковав

машину и выбравшись наружу, Кристина поднимает взгляд и стоит – совершенно неподвижно, чуть наклонив голову, будто прислушиваясь. Город словно бы совсем затих, уснул, – но внезапно потянуло сильным и влажным ветром с Веттерна, он засвистал и запел, и в зимней стуже вдруг запахло клевером. Кристине кажется, что ветер у нее за спиной, что он подталкивает ее вперед, когда она, внутренне содрогнувшись, приближается к почтовому ящику. Открывает его, полная дурных предчувствий, но находит там только какой-то счет да рекламу торговой сети.

Прежде чем войти в дом, она прогуливается по своему ночному саду. Под сиренью останавливается, разравнивая ногой гравий, словно пытаясь похоронить воспоминание о мертвой птице. И не видит огонька от сигареты и не замечает, что кто-то сидит на ступеньках кухонного крыльца и следит за нею. И поэтому вздрагивает, услышав хрипловатый голос:

– Эй, Кристина, – произносит он. – Ты сегодня тоже получила письмо?

Ах ты господи, какие мы стильные штучки, думает Маргарета. Широченное манто из мохнатой шерсти и кожаные перчатки! А подо всем этим великолепием наверняка шарфик от «Hermès». С цепями и конскими головами и прочими причиндалами. Фу-ты ну-ты, ах ты господи!

Она встает и бросает окурок на гравий, потом каблуком растирает и фильтр и табак – до полного изничтожения. Потом сует письмо в карман и с деланной небрежностью бредет к сирени. Подойдя ближе, она видит выражение Кристинино лица. Рот открыт, верхняя губа приподнята, зубы оскалены.

– Испугала тебя? Извини. Не хотела... Кристинина рука метнулась к воротнику, глаза близоруко сощурились за толстыми очками.

– Маргарета? Ты?

Ненужный вопрос, она и так прекрасно знает, кто перед ней. Хрипотца, наигранная небрежность походки, да и самая внезапность появления – кому еще и быть, кроме Маргареты? Ее собственный голос и мягче, и музыкальнее:

– Скажи на милость! Рада тебя видеть! Долго ждала?

– Да не один час. Уж решила, что у тебя ночное дежурство.

– Ой, да ты, наверно, замерзла!

– Не бойся, я оделась по-нашему, по-норландски. И вообще мне тут было просто замечательно...

\* \* \*

Маргарета, разумеется, врет. Замерзнуть она, конечно, не замерзла – она вообще редко мерзнет, ее тело защищает от холода несколько избыточный жирок, – но замечательно-то ей вовсе даже не было.

На самом деле весь сегодняшний день не задался, как и вся ее экскурсия по памятным местам собственного прошлого. И, просидев несколько часов в полном одиночестве на Кристинином заднем крыльчке, Маргарета вынуждена была себе признать, что заранее знала – все именно так и получится.

Иные воспоминания лучше не трогать, они тонкие, как паутина, и рвутся от всякой мысли и всякого слова. Довольно и того, что время от времени они поблескивают на опушке твоего сознания.

Так всегда бывало с воспоминаниями о пережитом в Тануме: сверкая капельками росы, паутина переливалась на опушке Маргаретиного сознания, и сама она осторожно подбиралась к ней поближе. Однажды она уже попробовала одеть пережитое в слова – когда, разнежась после любовной схватки с Класом, попыталась объяснить ему, с чего вдруг она решила

заняться физикой. Сбивчивым шепотом описывала она блуждания юной Маргареты по вересковой пустоши и как небо на самом восходе солнца тоже стало бледно-розовым, подобно вереску, как небо это сливалось с землей и как долго-долго мерцала Полярная звезда, покуда ее не погасил утренний свет.

– Вот тогда я стала подниматься по склону... И, взойдя на вершину холма, заметила три гигантских белых бокала. Три параболоида. Хотя тогда я этого еще не знала, в то время вообще мало кто знал, что такое параболоид. Я никогда ничего подобного не видела, но предположила, что это – что-то космическое... И так обрадовалась! Я была неслышанно счастлива просто оттого, что они такие огромные и красивые, и оттого, что... Да просто оттого, что они есть!

Клас, молча лежавший в ее объятьях все время, пока она рассказывала, высвободился, сел, потом прошлепал босыми ногами по сосновым половицам. В его голосе звучала наигранная тревога:

– Силы небесные, Маргарета! Неужели это из-за них тебя понесло в большую науку?

И она, разумеется, рассмеялась в ответ и, встав с кровати, тоже зашлепала босыми ступнями по полу спальни. Подойдя, пихнула его локтем:

– Ты же сам все время говоришь – легкую придури вполне можно себе позволить?

Он улыбается в ответ:

– Само собой. Но не до такой же степени!

Как она потом на себя злилась! Ну что ей стоило придержать язык? Могла бы сообразить, что обо всем, пережитом тогда, лучше помалкивать и принять как данность, что такими вещами нельзя делиться ни с кем. Даже с преданным другом и любовником. Тут все дело в дыхании времени, в этом страхе современности перед вечностью.

У нее, разумеется, нашлись бы слова, чтобы описать пережитое для самой себя – но не было общепринятых слов, приемлемых для Класа – человека безнадежно современного. Скажи она ему, что при виде параболоидов ее сердце расширилось, что сразу подумалось о кораблекрушении и о необитаемых островах, его бы это смутило. А добавь она, что испытала нечто сродни религиозному экстазу, он бы попросту оскорбился. У нормальных людей религиозных переживаний не бывает. Во всяком случае – в наше время.

Но так уж вышло. Ее сердце в то утро расширилось в буквальном смысле слова, и впервые в жизни она почуяла присутствие Бога. Параболоиды были величественнее и внушали куда большее благоговение, чем любой из древних соборов и полуразрушенных капищ, которые она исследовала во время своих археологических экспедиций. Тогда она внезапно ощутила себя Робинзоном Крузо – тем самым Робинзоном, который, прождав полжизни, увидел наконец парус на горизонте.

– О да! – произнесла она вслух, сама толком не понимая, что собиралась сказать. – Да!

Солнце всходило, и краски пустоши становились все насыщенней, сотни тысяч вересковых колокольчиков, сбросив ночные анемичные полутона, налились пурпуром, тонкие серебряные стебельки трясунки превратились в золотые, а внутри громадных параболоидов на миг засверкали все цвета радуги, а затем снова слились в ослепительно-белый. И внезапно она поняла, что эти белые параболоиды вовсе не паруса. Но – голоса. Вопль отчаяния, адресованный Вселенной: «Мы здесь! Мы здесь! Спасите нас!»

А теперь от этого ничего не осталось. Даже памяти. Сегодня она изорвала паутину в клочья. Теперь ей уже никогда больше не вспомнить, как юная женщина опускается на колени в вереск, устремив взгляд на параболоиды, ибо в эту картину тут же вторгнется женщина средних лет, выходящая из припаркованной на обочине машины. Ее полузакрытые веки трепещут, она словно хочет продлить сладкое предвкушение, как можно дольше отводя взгляд; нет, она не станет смотреть на эти три белых бокала, пока не займет загодя обдуманную позицию – у правой дверцы. И вот наконец она открывает глаза – настужь, ясные, готовые впитывать, наполняться...

Но их ничто не наполнило. Маргарета, сморгнув, поняла, что ни пустошь, ни вереск, ни параболоиды ничуть не изменились – ибо для них двадцать пять лет все равно что один вздох, – но сама она стала другой. И ключья отрывочных знаний, накопившихся в голове Маргареты нынешней, разрушили все чары. Она глядела на белые бокалы, тщетно пытаясь оживить в памяти соборы и капища, кораблекрушения и белые паруса, – бесполезно. Теперь она точно знала, что перед ней, и прежним волшебным образам места уже нет: это не вопль в космическое пространство, а три обыкновенные параболические антенны для приема спутниковых трансляций. В крайнем случае их можно было бы назвать ушами. Но Маргарета не в состоянии питать религиозные чувства к ушам. Глаза, те еще могут сиять, как маяки, а уши... они есть и пребудут банальными воронками. Вещь, конечно, нужная и полезная, да только внушает благоговения не больше, чем мозоль.

– Дура! – произнесла она вслух, пнув гравий обочины. – Идиотка! Тупица! Кретинка!

Мгновенная, но головокружительная мысль: что было бы, не забреди она сюда в ту ночь? Доктором наук она стала бы куда раньше – никто не корпит над диссертацией по археологии дольше четырех – пяти лет, а физику нужно лет десять – пятнадцать, прежде чем он станет хоть чем-то. А еще археологи ездят в Грецию на семинары и конференции, пьют вина по вечерам и крутят романы. А физики что? Ночи напролет просиживают одни-одинешеньки в каком-нибудь промозглом сарае в Норланде, снимая показания с приборов. По крайней мере, физики средней одаренности вроде Маргареты, которым не хватает гениальной легкости и проворства мысли, отличающих истинные дарования и ведущих их все дальше, до самого Европейского центра ядерных исследований в Швейцарии.

«Н-да, – подумала Маргарета, когда, снова усевшись в машину, нажала на газ, – давно пора понять, что физик из меня вышел так себе, серединка на половинку...»

Она пошарила по соседнему сиденью, нашла сигареты, закурила. От первой затяжки защипало в глазах. Она сморгнула слезы, но мутная пелена не исчезла, потому что глаза тут же наполнились новыми слезами.

Маргарета всхлипнула, сердито проведя под носом указательным пальцем. Неужели она в самом деле сидит и слезы льет? Маргарета Юханссон – дама, превратившая распутство в высокое искусство? Нет уж: вот уже пятнадцать лет она не плакала и теперь не собирается. Просто в машине накурено... Она опустила окно. Ворвавшийся ветер взъерошил ей волосы и вновь наполнил глаза слезами.

Ну и ладно. Все ясно. Зато она поняла наконец, что малость захандрила, что она хандрит уже давно. А в следующий момент ей приходит в голову, что все в ее жизни – посредственно и половинчато: полуфизик полусотни лет от роду с полунаписанной полуталантливой диссертацией, половиной от возможной зарплаты и полусестрами. Или как их еще назвать. Кроме того, большую часть года она жила лишь верхней половиной тела – Клас жил в Стокгольме, а она – в Кируне. Клас почти сразу дал ей понять, что может предложить ей только дружбу и телесную близость. Стало быть, полулюбовник. Маргарета отложила недокуренную сигарету и скорчила гримасу: вот был бы ярмарочный аттракцион! Приходите поглядеть на полудаму! Все за полцены!

За несколько миль до Уддеваллы она стряхнула наконец эту жалость к себе. Остановилась на перекрестке и заглянула в карту. Нет, все-таки придется ехать через Йёнчёпинг, хотя есть, разумеется, и объездной путь – для тех, кто едет в Стокгольм. Но она уже и так подзадержалась из-за своего путешествия по Memory Lane.

Она заранее решила не останавливаться в Вадстене, хоть и знала новый Кристинин адрес наизусть. Она спокойно проскочит этот самодовольный городишко вместе с его самодовольной докторшей и поедет дальше в Муталу. Там она зажжет свечку на могиле Тети Эллен и просто поглядит на свой старый дом, а потом отправится в Стокгольм. Не потому, что спешит – ближайшие дни Клас все равно пробудет в Сараеве, – но просто ради удовольствия пожить

одной в Класовой квартире. И не то чтобы она собиралась порыться в его тайнах, но если какой ящик или там шкаф окажется открыт...

Она остановилась пообедать возле «Золотой выдры» и с полчаса просидела за столиком в пустом кафе, глядя на сине-серую зимнюю воду Веттерна, потом поднялась и пошла к машине. И через несколько миль – нате, пожалуйста: что-то брякнуло, после чего Класов старенький «фиат» загрохотал, как целый танковый дивизион. Маргарета свернула на боковую дорогу, притормозила. Выйдя, обошла машину кругом, пытаясь понять, что случилось, но так и не поняла. Потом снова попробовала запустить мотор, грохот стал еще громче. Она не решилась выехать обратно на шоссе и позволила автомобилю потихоньку ехать туда, куда глядели его передние фары.

Вот так оно и вышло, что она все равно оказалась в Вадстене, что пришлось ехать со скоростью улитки по всем ее тесным улочкам на своей грохочущей, скрежещущей машине. И разумеется, оказалось, что в автосервисе – как уже подсказывало смутное предчувствие – быстрого ремонта ей обещать не могут. Вся выхлопная система вышла из строя, надо менять. Может, забросят новую из Линчёпинга. Если ей повезет.

– Завтра. – У механика был тягучий эстергётландский выговор. – Завтра после обеда, это пожалуй. А раньше – нет. Абсолютно исключено.

Взмокнув от волнения, Маргарета поправила челку.

– А это дорого?

Он чуть коснулся кепки, отвел глаза:

– Пожалуй. Не знаю я. Поглядим...

А когда она вернулась на стоянку, под «дворник» машины было засунуто письмо.

Дрожа от холода и злости, она добралась наконец до предположительно Кристининого дома и обозлилась еще больше, когда никто ей не открыл. Она несколько раз обежала дом, то барабанила в кухонную дверь, то с остервенением снова и снова давила на кнопку звонка у парадной, но спустя какое-то время опомнилась: что за истерика? Вполне возможно, что кажущийся пустым дом и в самом деле пуст. С чего это ей взбрело, будто Кристина затаилась и сидит за этими блестяще-черными окнами? И не желает впускать в дом сестричку Маргарету? Кристины просто нет дома. Все элементарно.

Запыхавшаяся, но успокоенная этим проблеском разума Маргарета опустила на ступеньки кухонного крыльца. Что ж, подождем. Для начала она пощупала конверт, повертела его в руках и провела указательным пальцем по вскрытому краю, но мышцы рук вдруг обмякли, наполнившись приятным теплом, ладони скользнули на колени и легли полукругом вокруг письма. Она его больше не удерживала – оно лежало теперь само по себе на ее туго обтянутых джинсами ляжках.

Это была бы минута блаженства. Если бы упрямый голос в ушах не повторял без конца последнюю строчку письма: «Стыд и срам, стыд и срам. Никому тебя не надо!»

Во время своего долгого ожидания Маргарета вытянула ногу и ткнулась носком ботинка в гравий на садовой дорожке. Наверняка Кристина раз в неделю тщательно разравнивает его граблями. Так полагается, этому научила их Тетя Эллен. Каждую субботу девочкам выдавались грабли, и предполагалось, что каждая исполнит свой долг. Кристина ровняла дорожку от калитки до дома, Маргарета – маленькую площадку во дворе, а Биргитта – пятачок за домом.

Если бы однажды Маргарету посетила мысль представить всю накопленную за жизнь мудрость в виде гобелена, она изобразила бы на нем именно эти субботы. А сверху лаконичная надпись: «Как разровняешь, так и пойдешь». Ибо так оно и есть. Как они разровняли, так и прошли, каждая свою дорожку.

Едва Тетя Эллен скрывалась из виду, как Биргитта отшвыривала свои грабли в траву и кралась к дому, стараясь, чтобы ее не видели из кухни. А потом усаживалась под стеной и тарасилась из-под челки, грызя свои уже до крови обкусанные ногти.

Маргарета лентяев презирала. Лично она сачковать не собиралась. Наоборот, она старалась сделать свою площадку по-настоящему красивой. И, широко размахивая граблями, рисовала на гравии цветы, цирковых лошадок и принцесс – и все будто для того, чтобы расплакаться, увидев результат. Ничего похожего на то, что она пыталась изобразить! Грабли словно и не касались гравия!

Только Кристина ровняла дорожки как следует, после нее гравий лежал как по линейке. Покончив со своей частью, она бралась за Маргаретину, а потом за Биргиттину. И никогда не жаловалась, наоборот, словно боясь разоблачения, то и дело пугливо поглядывала на кухонное окно и спешила побыстрее закончить работу за своих сестер.

Хотя сестры-то они еще те...

Маргарета переменяла позу и полезла в карман за сигаретами. В последние годы Кристина вообще легла на дно, перестала звонить, у нее никогда нет времени встретиться. Весь декабрь Маргарета с надеждой хватала телефонную трубку при первом же звонке – может, Кристина надумает наконец пригласить ее на Рождество, как раньше, – но все ограничилось рождественской открыткой с башнями Вадстены. От семьи Вульф. Теперь стало окончательно ясно: сестра Кристине больше не нужна. «Стыд и срам, стыд и срам, никому тебя не надо!»

Какая нелепость, подумалось ей вдруг, вот так сидеть тут на ступеньках. Дрожащей рукой она зажгла сигарету. С какой это стати она приперлась туда, где с ней откровенно не желают иметь дела? Всю свою жизнь Маргарета предпочитала уходить сама, а не быть оставленной, надо и теперь встать и отправиться на поиски какой-нибудь гостиницы. Там, постучав о стол своей кредитной карточкой, можно будет прилично поужинать – она, честно говоря, проголодалась, – выпить бокал вина, а потом зарыться в чистенькую постель, в наглаженное белье...

А может, взять машину в прокате и отправиться напрямик в Стокгольм? Хотя, с другой стороны, нельзя же навсегда бросить «фиат» в Вадстене, Клас с ума сойдет, если не найдет его на месте, когда приедет. Да еще письмо это проклятое: надо как-то избавиться от него и от оставленного им паршивого ощущения, а Кристина, к сожалению, единственная, кто способен понять его смысл. Что-то происходит. Но об этом, должно быть, знают лишь три человека на свете, и один из них – автор письма, к которому Маргарета ни бежать не намерена, ни тем более плакаться ему. Это рискованно – кто знает, что творится в размягчившихся до последней степени мозгах?

Ну а все-таки? Чего она, собственно, разволновалась? Ну чем может какая-то вонючая наркоманка из Муталы реально угрожать Маргарете Юханссон? Неужто нельзя взять это письмо и вместе с другими, которые, возможно, придут в ближайшие недели, спустить в унитаз? Неужели она даст себя запугать?

– Нет уж, – произнесла она вслух и стала подниматься.

Плевать на все эти глупости, сейчас напрямик в ближайшую гостиницу, снять номер. А Биргитта пусть катится куда подальше. Как, впрочем, и Кристина...

В этот самый миг на улице остановилась машина, и Маргарета застыла на месте. Теперь уже не скрыться – поздно. Она снова опустилась на лестницу, глубоко затянулась сигаретой, а потом сказала как можно более хрипло:

– Эй, Кристина, ты сегодня тоже получила письмо?

И вот обе напряженно застыли в шаге друг от друга, Кристина – носки вместе, руки целомудренно сцеплены на животе, и Маргарета – расставив ноги и засунув руки глубоко в карманы короткой дубленки. К ней неожиданно вернулась уверенность – вечерний воздух промыл ее легкие и очистил кровь от шлаков, Маргарета ощущает бодрость и чистоту, как после душа.



– Жаль, что тебе пришлось ждать, – озабоченно говорит Кристина и делает шаг к кухонной двери. – Но я отвозила Эрика в Стокгольм. Он летит в Техас, его пригласили участвовать в совершенно новом проекте, вообще-то жутко интересно, проблемы поздней беременности и...

Она умело прячет свое недовольство по поводу неожиданного визита. Голос – звонкий, любезный, хорошо поставленный, совсем не похожий на тот, который Маргарета помнит с детства. В первые месяцы у Тети Эллен Кристина вообще говорила шепотом, иногда почти шипела. Когда же она со временем обрела полный голос, оказалось, что диалект у нее весьма своеобразный, отдаленно напоминающий невнятный говор Сконе. Большинство сконцев в конце концов отучаются от своих дифтонгов, но все равно картавят немилосердно. Кристина была родом вовсе не из Сконе и «р» произносила, как положено, но никак не могла научиться чисто выговаривать гласные. А почему – стало понятно лишь несколько лет спустя, когда ее мамаша Астрид, эта ведьма с синими пальцами, заявила к ним и потребовала назад свою дочь. Астрид говорила точно так же. И тут Кристина раз и навсегда перешла на эстергётландский выговор. Она спряталась тогда за стулом Тети Эллен и дико орала, едва Астрид к ней приближалась.

Кристина вставляет ключ в кухонную дверь и, открыв, проскальзывает внутрь и включает свет. Маргарета идет за ней следом, снимая на ходу дубленку и оглядывая кухню. Все понятно. Холодильник и морозильник спрятаны в нише за деревянными дверцами. А современную плиту спрятать не удалось. Вот почему на старинной чугунной плите стоит медная посуда с букетом сухоцветов. Чтобы отвлечь внимание... Ах ты боже мой! С первого взгляда ясно, в какие игры играют в этом доме.

– Ага, – говорит она, вешая дубленку на спинку стула. – Значит, новый дом. Вернее, новый старый дом.

Кристина на мгновение замирает посреди кухни, взявшись обеими руками за верхнюю пуговицу манто, словно ей не хочется раздеваться и показывать предполагаемый шелковый шарфик. Не расстегиваясь, она проходит в гардеробную, сообщая через плечо:

– Если хочешь, мы можем пройтись посмотреть весь дом, вот только пальто повешу...

Но Маргарета не намерена ждать ее на кухне и плетется следом. И, проходя через холл, видит в зеркале торопливые движения Кристины в гардеробной: вот она лихорадочно сдергивает шарфик, словно пытаясь скрыть постыдную тайну, и запихивает его в ящик старинного комода, одновременно запустив другую руку в волосы. Рука опускается ниже, к жемчужной нитке, мерцающей под воротником. Неужели и ее снимет? Но нет, не успеет. Маргарета уже стоит в дверях, прислонившись к косяку и криво улыбаясь.

– Красивый жемчуг. Что, профессор подарил?

От этих слов в Кристине пробудилось былое детское упрямство, тряхнув головой, она словно дает понять, что и не собиралась снимать бусы, что бы там Маргарета себе ни думала.

– Да, – отвечает она, поглаживая жемчужины. – Красивый. Старинный. Семейная вещь, наследство от свекрови...

Маргарета подымает брови:

– Тихоня Ингеборг? Разве она умерла?

Кристина кивает:

– Угу. В прошлом году.

Маргарета молча разглядывает себя в зеркале рядом с Кристиной. Внезапно накатывает усталость. С какой стати ей иронизировать по поводу Кристининого шарфика и жемчужных бус? Чем она сама не фотомодель? При ней ведь тоже все общепринятые условные атрибуты, какие положены не признающей общепринятых условностей женщине средних лет. Черные джинсы и к ним полотняный жакет, стрижка «под пажа» и подкрашенные глаза. На шее кольцо, сомнительная красота которого, как ей вдруг показалось, вряд ли искупается оригинально-

стью, – несколько глиняных черепков на тонких кожаных ремешках. Глубокомысленно, непонятно.

Кристина, повернувшись, смотрит на нее:

– Ты устала?

Маргарета кивает:

– Плохо спала последнюю ночь...

– А что такое?

Маргарета пожимает плечами:

– Не знаю... Может, предчувствия.

Кристина чуть морщится, она же врач, в ее мировоззрение предчувствия никак не вписываются. Но вдруг вспоминает:

– Ты что-то говорила о письме?

Маргарета, вытащив конверт из кармана, протягивает ей, но Кристина не берет его, – сунув руки в карманы жакета, она нагибается и разглядывает конверт.

Обе поднимают взгляд одновременно и смотрят друг другу в глаза. Маргарета, скривившись, поспешно отворачивается. Комок в горле, который она так долго пыталась игнорировать, разрастается и наконец лопается, как огромный и скользкий мыльный пузырь. Приходится изо всех сил стиснуть губы, чтобы плач не смог вырваться наружу. Но Кристина замечает.

– Что ты. – Она робко похлопывает Маргарету по плечу. – Успокойся, Маргарета. Что же она такое написала, что ты так расстроилась?

Маргарета снова протягивает письмо, на этот раз Кристине приходится его взять. Она прикасается к нему, как к заразе, – двумя пальцами, как пинцетом, она осторожно лезет в конверт и вытаскивает оттуда мятый листок. Вот она тщательно разглаживает его на комод. Потом поднимает очки и, решительно глянув на Маргарету, начинает читать своим хорошо поставленным голосом:

Три женщины рожали, все они кричали.

Ай, кричала Астрид, ай, кричала Элен, ай, кричала Гертруд.

Ай-ай-ай-ай.

Акушерка отвернулась. Хлоп-поп-поп-поп!

Было четверо младенцев. А один уж на полу.

Это чей такой противный?

Стыд и срам! Стыд и срам! Никому такой не нужен!

Стыд и срам! Стыд и срам! Никому тебя не надо!

Короткая пауза, они не смотрят друг на друга. Кристина поглаживает пальцами письмо. Вот она, кажется, приняла решение. Выдвинув ящик комода, достает пачку бумажных носовых платков.

– Высморкайся. Потом поедем...

Маргарета делает как велят, но, еще сморкаясь, еще уткнувшись ртом и носом в платок, невнятно бормочет:

– Убила бы ее! Это она виновата, во всем. Во всей этой чертовой жизни виновата Биргитта!

Весна оказалась пустым обещанием. Теперь уже ночь, и зима собралась с силами для последнего наступления. Разгулялся ветер, поднялась вьюга, поверх подтаявшего снега под самым окном уже намело небольшой сугроб. Маргарета чуть поеживается, сидя за столом на кухне. Куст за кухонным окном мотается туда-сюда, то шаловливо ластится к стеклу, то хлещет по оконной раме, как злобная старуха уборщица с метлой.

Маргарета прочла Кристинино письмо, фыркая от негодования. Пожалуй, это уже перебор, – на самом деле ничего в нем не было, кроме невнятной белиберды, но казалось почему-то, что за напускным гневом можно скрыть слезы. А теперь слезы – позади. Разумеется, бумажный платочек у нее припасен, но глаза уже сухие и комка в горле больше нет. Пристальным взглядом она следит за движениями Кристины, священнодействующей возле мойки. Как та привычно двигается среди всех своих поблескивающих штучек и все-таки кажется самозванкой в собственном доме. Она ходит очень тихо, прижав руки к телу, поспешно уменьшает струю, сливая воду, чтобы избежать лишнего плеска, и в последний момент успевает поймать дверцу холодильника, после чего делает вдох – явно бессознательно, – берется за дверцу обеими руками и прикрывает совершенно беззвучно.

Свет на кухне добавляет таинственности. Кристина зажгла только лампу над кухонным столом – из дизайнерского магазина, надо полагать, стоит пару тысяч! – а сама продолжает возиться в полумраке возле мойки. Но возится как-то многообещающе: откупорила бутылку вина, вот ставит домашний хлеб подогреться в микроволновку, а тем временем замороженная бесформенная глыба на плите на глазах превращается в суп.

– Тебе помочь? – предлагает Маргарета.

Кристина подымает на нее недоуменный взгляд, словно успев забыть о ее присутствии, и тут же спохватывается.

– Нет-нет, – поспешно отвечает она. – Все почти готово... Посиди пока.

– Можно я закурю?

Кристина пожимает плечами. Маргарета закуривает и перегибается через кухонный стол с зажигалкой наготове.

– Свечку зажечь?

– Конечно, – равнодушно отзывается Кристина. – Давай.

Маргарета узнает подсвечник. Он из Перу. Она сама его купила, и воспоминания тех дней стремительно проносятся перед глазами: поздно вечером она сидела на пляже в Лиме. Несколько часов раньше она впервые увидела этого ребенка, тощего мальчугана с морщинистым личиком и черными глазами. Он лежал, закинув руки за голову, как грудной, и глядел на нее, не мигая. Его взгляд заставил ее умолкнуть – на несколько часов, – не проронив ни слова, она спустилась на пляж, села на песок и безмолвно смотрела на Тихий океан. Это логично, думала она тогда. Мы, найденцы, – особое племя и должны заботиться друг о друге... Возвращаясь в гостиницу, она вся лучилась материнским счастьем и, повстречав уличного торговца, продававшего нарядные, вручную расписанные подсвечники, купила в припадке великодушия целых пять штук. Один из них долго стоял у Тети Эллен на тумбочке в приюте, другой оказался на этой вот кухне в Вадстене. Но где теперь самый красивый из них, тот, что она водрузила на пол у кровати мальчика, известно одним перуанским богам...

Кристина ставит перед ней дымящуюся тарелку горячего супа – такой знакомый кислотный запах.

– Что, суп Тети Эллен? – голодно спрашивает Маргарета и хватается ложку.

Кристина впервые за весь вечер улыбается:

– Да, она в последний год передала мне кучу рецептов... Гуляш. И малиновый пирог...

Маргарета плотоядно улыбается над ложкой с супом:

– О, малиновый пирог! Я тоже хочу рецепт... Помнишь?

Дальше можно и не говорить, Кристина смеется низким, кудахчущим смехом, он кажется эхом того давнего смеха Тети Эллен. Она разливает вино, и рука дрожит в такт смеху.

– Как тебя застукали, когда ты прямо всей пятерней залезла в банку с вареньем. Крепко тогда тебе влетело! Честно говоря, я до смерти испугалась...

Маргарета улыбается в ответ:

– Да, прямо черт знает что! Такая гроза разразилась...

Кристина протягивает ей плетенку с хлебом – уже менее скованным жестом, – лед между ними почти растаял.

– Ты на могиле давно была? – спрашивает Маргарета и берет ломоть теплого хлеба, уже пальцами чувствуя, что и хлеб испечен по рецепту Тети Эллен.

Кристина пожимает плечами:

– В День Всех Святых. Тайком пробралась – последнее время мне неприятно ездить в Муталу...

Маргарета изумленно замирает, не донеся до хлеба ножик с кусочком масла.

– Почему? Ты что, с ней там столкнулась?

– Нет, но...

Ее взгляд уперся в стенку позади Маргареты.

– Ну, – торопит Маргарета. – Но – что?

– Ощущение, что за тобой следят. Словно все там знают, кто я. С тех пор, как она стащила мои рецептурные бланки. Из-за этого меня сколько раз в полицию вызывали! А потом пришлось еще свидетельствовать на суде. В газетах писали, местная радиостанция сделала передачу – нет, это что-то невообразимое...

– Но ведь твоего имени не называли?

Кристина криво ухмыляется:

– Это все равно. Тут всем про всех все известно. Знаешь, что со мной произошло этой весной? Поехала я в Муталу за покупками и зашла пообедать в маленький современный ресторанчик возле рынка, знаешь, где комплексные обеды. И тут является его владелица собственной персоной и начинает убирать со столиков. И все крутится вокруг меня, причем так стучит тарелками, что я волей-неволей поднимаю на нее глаза. Тут она и говорит: «Простите, вы не доктор Вульф из Вадстены?» Пришлось сознаться... Тут она скорчила сочувственную физиономию: «Понимаете ли, я хотела только сказать, что мы собрались было взять вашу сестру сюда в ресторан судомойкой, вроде как помочь хотели, но ничего не вышло...»

Маргарета сморщила нос:

– А ты что?

– А что мне оставалось? Спросить, почему именно ничего не вышло? Не устраивала ли она стриптиз для посетителей? Или, может, принимала клиентов у себя в моечной и занималась там непотребством? Или впрыскивала в картошку амфетамин? Нет уж, спасибо! Я просто встала из-за стола и сказала все как есть. Что никаких сестер у меня нет!

Это пощечина. Но Кристина будто и не замечает, как щеки Маргареты загорелись и пошли красными пятнами. И преспокойно поднимает свой бокал:

– Ну, за тебя – добро пожаловать!

Но Маргаретина рука неподвижно лежит на столе – свой бокал она поднимать не станет.

– Извини, – говорит Маргарета и сама удивляется своему спокойному голосу. – Я что-то растерялась, когда ты разливала вино. Я же за рулем – ночью я еду в Стокгольм...

И мысленно добавляет: а сюда больше никогда не вернусь. Никогда, никогда, никогда! Можешь не сомневаться, мещанка ты несчастная!

Кристина недоуменно опускает бокал.

– Но зачем тебе ехать ночью. В такую погоду... Да и машины у тебя нет.

Маргарета мельком взглядывает в кухонное окно. Там метет вовсю, но до снежной бури пока что далеко.

– Возьму в прокате. Работа, сама знаешь. Послезавтра заседание в Физическом, надо подготовиться...

– Все же нам надо поговорить, – возражает Кристина. Она посерьезнела, кажется, до нее дошло, что она только что ляпнула.

– Вот и поговорим, пока ужинаем...

Кристина опускает глаза и глубоко вздыхает:

– Но Маргарета, пожалуйста... Мы же так давно не виделись. Ну если я тебя очень попрошу?

Маргарета смотрит на нее в упор, но Кристина не подымает глаз, только белые пальцы-пинцеты нервно собирают крошки со скатерти.

– Пожалуйста! – повторяет она, не подымая глаз, но теперь уже кажется, что она просит искренне. Повисает молчание. Маргаретины мысли скачут. Собственно говоря, ехать в ночь совсем даже неохота, но и оставаться тоже не хочется. И то и другое – унизительно. Но внезапно выход найден.

– Ладно, – говорит она и берет бокал. – Если рвану с утра, ничего, успею. Тогда заодно заеду в Муталу на могилу. Потому что уже давным-давно никто не навещал ее, надо хоть цветов туда прихватить...

– А Биргитта? – напоминает Кристина после ужина, когда обе уже молча сидят перед кафельной печкой в гостиной. – Что нам делать с Биргиттой?

– Убить, – отвечает Маргарета и отпивает большой глоток из ликерной рюмки. Кристина налила ей «Амаретто», у него мягкий вкус и миндальный аромат, но в следующий миг ее горло приятно обжигает. Вот теперь стало совсем хорошо. Кристина угостила ее кусочком той прекрасной жизни, на которую у нее самой никогда не хватало времени. Такая жизнь требует внимания к мелочам, а времени на мелочи Маргарете всегда было жалко. Подростком она вечно разгуливала в съехавших на бедра трусах и в сбившейся комом нижней юбке, потому что ей жалко было и двадцати секунд на то, чтобы привести себя в порядок. Так шло и дальше. Уже взрослая, она начинала день, на ходу заглывая чашку растворимого кофе у разделочного стола. Стоя, обжигая язык и смутно мечтая о настоящем завтраке за накрытым столом. С завтрашнего дня, обещала она себе каждый раз, начну новую, правильную жизнь. Брошу курить, стану делать зарядку и завтракать, занавески на кухне повешу... Но не сегодня, сегодня столько дел, и если их все не переделать немедленно, то все, смерть придет, больше вообще ничего не успеть.

Сама Кристина от ликера воздерживается. Она, похоже, с юности побаивается алкоголя: за ужином лишь несколько раз осторожно пригубила вина из бокала. Теперь она сидит выпрямившись в своем вольтеровском кресле, положив ногу на ногу и держа чашку с кофе обеими руками. Прямые пальцы растопырены, так что кажется, будто чашка зависла между их кончиками. Чтобы сделать глоток, она наклоняет надменную голову над чашкой, едва касаясь краешка губами.

– Да. – Маргарета откидывается на мягкий подголовник кресла. – Пожалуй, надо взять и убить ее.

Кристина чуть улыбается:

– Заманчиво, что и говорить. Только слишком поздно...

Маргарета растерянно моргает:

– Почему поздно?

Кристина отпивает еще глоток кофе, улыбка сползает с лица.

– Надо было сразу ее убить, когда все это случилось с Тетей Эллен. Тогда это удалось бы сделать, даже не вызвав подозрений. А теперь мы уже слишком часто заявляли на нее в полицию и подавали жалобы в социальную службу – персональному куратору... Полиции известно, как мы к ней относимся. Придется туда ехать, и немедленно. По крайней мере – мне.

Маргарета, неуверенно улыбаясь, чуть приподнимается в кресле.

– Я же пошутила...

Серые глаза Кристины прозрачны, как стекло, – пристально посмотрев на Маргарету, она опять отпивает кофе. А отпив, снова улыбается. Как ни в чем не бывало.

– Я тоже, – говорит она. – Я тоже пошутила... Ну так что будем делать?

Маргарета закуривает и пожимает плечами:

– Не знаю. В данный момент мы мало что можем сделать. Разве что попытаться предугадать дальнейшие ходы...

– Какие, по-твоему?

– Представления не имею... Вот что хуже всего. Можно ждать чего угодно. Дохлой кошки на коврике в прихожей. Или выступления в каком-нибудь ток-шоу по телевизору. «Прости меня». Или в «Человечности». Или как они там называются.

Кристина, поспешно скинув свои хорошенькие лодочки, прячет ноги под юбкой.

– Брр!

– Можно, например, подбросить тебе на стол пакетик дерьма во время приема...

– Было уже. Она обычно не повторяется...

Маргарета со вздохом закрывает глаза, но, похоже, уже не может остановиться.

– Или отправить анонимное письмо в «Вадстена тиднинг»... Не для печати, разумеется, – так, обобщенную похабщину, чтобы грязью облить. Можно устроить небольшой пожар... Кстати, у тебя тут есть пожарная сигнализация?

Кристина молча кивает. Маргарета одним глотком опустошает свою рюмку и со стуком ставит ее на стол. Обе надолго замолкают. Кристина свернулась в клубочек в своем кресле. Ноги поджаты под юбку, руки – в карманах жакета.

– И все-таки это не самое страшное, – произносит она наконец, не отрывая взгляда от своих коленок.

Маргарета не отвечает. Знаю, думает она. Знаю. Самое страшное – что ей известно слабое место каждой из нас. «Стыд и срам! Стыд и срам! Никому тебя не надо!»

– А еще ликерчику можно? – спрашивает она, не открывая глаз.

Час спустя она тупо сидит на кровати в Кристининой гостевой. Тесная комнатка забита мебелью. Широко шагает Кристина – того и гляди штаны лопнут: тут тебе и старинная железная кровать, и старинный комод, старинный стул и старинный письменный стол. И, само собой, ковер под старину.

Маргарете слышно, как Кристина чистит зубы в ванной. Вероятно, антикварной щеткой. Вырезанной вручную году так в 1840-м. И, вероятно, канцелярским клеем, чтобы рот ненароком не открылся во сне и оттуда не вырвалось никаких непредумышленных вольностей.

Толку от их беседы вышло немного. А чего, собственно, было ожидать? Что Кристина сможет разрешить неразрешимое? Или что она предложит сестринское участие идиотке, которую, судя по всему, воспринимает лишь как навязчивую приятельницу? Да вообще, приезжать сюда – это уж точно идиотизм. Но завтра она уедет как можно раньше – погуляет по городу, пока машину не починят, – и на сей раз она в самом деле покажет, что усвоила урок. Никаких контактов. Что бы ни случилось...

– Эй! – кричит Кристина из холла. – Маргарета! Ванная свободна...

Маргарета сгребает в охапку полотенце и несессер, но, вставая, слышит телефонный звонок и замирает. В зеркале над комодом ей видно собственное лицо: глаза заплыли, лоб в морщинах.

– Да, – говорит Кристина. – Да, но...

На секунду становится тихо.

– Разумеется, – говорит Кристина. – Но...

Ее перебили, собеседник, похоже, не дает ей вставить слова.

– Насколько это серьезно? – спрашивает Кристина.

Бормотанье в трубке подымается октавой выше. Пациент, думает Маргарета. Наверняка кто-то из ее пациентов.

– Нет. Я знаю. Я сама врач, – наконец говорит Кристина. – Да-да. Тогда мы приедем... Да-да.

И кладет трубку, не поблагодарив и не попрощавшись. На мгновение в доме стало совсем тихо: Маргарета не шевелясь стояла у зеркала в гостевой, а Кристина, вероятно, так же неподвижно замерла там, в холле.

– Маргарета! – наконец произносит Кристина. И снова, понизив голос: – Маргарета?

Маргарета, глубоко вздохнув, выходит и стоит посреди холла с полотенцем и несессером.

– Это она звонила?

– Нет, – говорит Кристина. – Это из Муталы, из Кризисного центра для женщин, подвергшихся насилию...

– Что им нужно?

Кристина, вздохнув, запускает пальцы в волосы. И вдруг перестает казаться такой устрашающе опрятной; ночная рубашка мягкая, волосы взъерошены, халат нараспашку.

– Сказали, что Биргитту избили. Очень сильно. И что она лежит у них там в Мутале и они полагают, нам надо туда приехать...

– Но почему?

Кристина покорно вздыхает, но голос ее сух и трезв:

– Потому что она умирает. Сказали, она, вероятно, умрет...

Пьянь старая! – кричит кто-то далеко-далеко. – В постель наблевала, уродина, блядь бухая...

Наблевала? В постель?

Голос растворяется в смутном бормотанье. Биргитта не знает, кто кричал, а открыть глаза просто не в состоянии. А-а-а... насрать. Но она и правда лежит в какой-то постели... На грязной простыне. Какие-то маленькие черные катышки, жирные и скользкие на ощупь, липнут к пальцам, едва проведешь рукой по ткани. Она уже столько раз видела эти катышки, что узнаёт их не открывая глаз. Так бывает, когда белье настолько заскорузнет от грязи, что та перестает впитываться между волокон. Узнаёт она и запах, терпкую вонь – смесь табака и кислого духа пивной врыты.

Да. Точно. Старая пьянь наблевала в постель. И лежит теперь в собственной блевотине, которая, подсыхая, стягивает щеку. Но повернуться нет сил – тело налилось теплой тяжестью. Единственное, на что ее хватает, это медленно-медленно поднять руки, сложить лодочкой и подсунуть под щеку. Гертруд говорила как-то, что она, когда так лежит, похожа на ангелочка с виньетки. Настоящий маленький ангелочек!

Теперь снова тихо, и можно снова заняться тем, чем ей так хочется. Задаваками.

Мысли соскальзывают в давно знакомый пейзаж. Идет охота! С автоматом под мышкой она тихо-тихо, словно хищный зверь, ползет с кочки на кочку. И р-раз! – очередь по Маргарете. И р-раз! – по Кристине. Веером, навывлет – сквозь коленки, живот, грудь и глотку. Ха! Только фарш и остался от нее от заразы...

Биргитте это сафари на задавак не надоедает никогда. Как бы ни трясло ее с бодуна, как бы ни набиралась она потом, в какой бы глубокий запой ни уходила за последние несколько лет, – игра не меняется. Это ее тайна; нет слов, чтобы рассказать об этом ментам или теткам из социальной службы. Вообще-то у нее со словами нет проблем: она умеет разговаривать и с корешами как своя, и с тетками из социалки по-латыни. А в суде говорит так гладко, что хоть сразу заноси в протокол. Но вот об этом – что толку говорить? Ну да, она восемь тысяч шестьсот семьдесят три раза сделала фарш из потерпевших Маргареты Юханссон и Кристины Вульф.

Ну так и чего же? В этом нет ни состава преступления, ни угрозы общественному порядку. Она ведь ничего такого не говорила и не делала.

Вот опять подступила боль и тошнота, словно внутри кто-то толчет картофельное пюре – вверх-вниз, вверх-вниз. Кишки крутит, в желудке жжет. Но в этот раз даже нормальной рвоты не получается, изо рта течет что-то кислое и жидкое. Блин! Больше ей не вытерпеть. Раньше она могла зараз хватануть пару доз и ноль семь спиртяшки, и ничего, была как стеклышко. А теперь хорошо когда баночку пивка в себе удержишь.

Да-а. Пивка бы теперь.

Рука тяжеленная, как булыжник, но все-таки удастся ее поднять и опереться на кровать, со стоном, – голова кружится, кажется, мозги качаются на волнах, как выжатая губка. Желудок сводит судорога, но надо подниматься, надо, хоть уми...

Теперь она сидит, все еще не открывая глаз и плохо представляя, где верх, где низ. На всякий случай чуть шевелит пальцами ног – они касаются холодного пола и какой-то тряпки. Открыв глаза, она смотрит вниз, между своих колен. Там, под ногами, валяется рубашка с зелененьким узором. А пол – серый, с горелым пятном возле самой ее пятки.

Медленно поднимая голову, она озирается. Это не дом, это какое-то другое место. Комнатка маленькая. Слева три черных окна – во всю стену. Одно из них попытались завесить одеялом, но оно свалилось, один только уголок держится. Под батареей валяется включенная настольная лампа с разбитым абажуром. Ночь, наверное. Или раннее утро.

Чья хаза-то?

На вид квартирка, как все другие, одновременно знакомая и безликая. Мебель от социалки: шаткий столик, прожженный окурками и с кругами от стаканов, кровать – на ней она теперь сидит – и два матраса на полу. Два деревянных стула, один стоит нормально, другой опрокинут набок.

Воздух – тяжелый от дыма и человеческих запахов. Посидели, надо думать, хорошо – в пепельнице куча окурков, а стол уставлен бутылками, банками и стаканами. Очень осторожно Биргитта тянется к столу и покачивает пивную банку – похоже, там больше половины осталось. И, жадно схватив ее обеими руками, отпивает глоток – картофельное пюре делает попытку выскочить наружу и по пути вывернуть желудок наизнанку, но Биргитта сопротивляется – выпрямившись и зажмутив глаза, перебарывает тошноту. Когда первые спазмы улеглись, она продолжает пить выдохшееся пиво мелкими торопливыми глотками. И лишь когда банка опустела, открывает глаза. Лампа на полу словно стала ярче, а предметы четче. Теперь она видит, что не одна. Еще четыре – нет, пять спящих тел вдоль стенок. На Роджера ни одно из них не похоже. А в самом дальнем уголке сидит беловолодая девчушка и таращит широко раскрытые невидящие глаза. Она странная, такие бывают на картинках в детских книжках. Шейка слишком тоненькая, а голова совершенно круглая. Маленькая принцесса Розовый Бутон, выскользнувшая из своей сказки...

Биргитта упирается руками в край кровати и со стоном встает. Вот она и очухалась, эта старуха, имеющая наглость распоряжаться большей частью ее мыслей и движений. Биргитта усмехается про себя. Так вот ты теперь какая – а говорила, умрешь молодой и будешь лежать в гробу, блистая красотой.

А наплевать. Теперь бы в сортир. На подгибающихся ногах, неуверенными шагами она плетется к двери и выползает в маленькую переднюю. Дверь в уборную распахнута, там горит свет, и ее собственное отражение смотрит на нее – заплывшие глаза, серые губы, всклокоченные волосы.

Старая пьянь.

Жирная старая пьянь. Такая уродина, что...

Стыд все разгорается, но ей не привыкать. Закрыв лицо руками, она опускается на унитаз и на какое-то время забывается.



И пробуждается оттого, что кто-то схватил ее за волосы и трясет, – крепкая хватка, но боль кажется чистой, ясной и жгучей. Почти приятной.

– Ай, – говорит она сонным голосом. – Какого хрена?

– Вали отсюда, бабка. Мне поссать надо...

Над ней возвышается здоровенный мужик с грубым голосом и двойным подбородком. Сильный и целеустремленный. Он подымает ее за волосы и вышвыривает в переднюю. Отлетев в кучу одежды, она сползает на пол.

– Дерьмо собачье, – выкрикивает она.

Он не отвечает: стоит, расставив ноги перед унитазом, опираясь рукой о стенку. Может, он ее и не слышал: такими остекленелыми полузакрытыми глазами смотрят только те, кто летит своим путем по своей собственной вселенной. Смущает то, что она его совершенно не узнает. Он наверняка бухарик со стажем, а она знает всех бухарей в Мутале. А этого никогда раньше не видела...

Вот он принимается говорить со стенкой в уборной, – не сводя с нее глаз, раздражается длинной тирадой. Он бормочет долго и невнятно, и поначалу ей не разобрать, что он говорит, но он повышает голос, и до нее доносятся отдельные слова:

– ...прибить поганых старух на хрен, узлом завязать этих шлюх паршивых и чтобы носом в собственную дырку вонючую, чтоб задохлись, пр-роститутки, пр-рости-тут-тут-тут...

На секунду Биргитта совершенно протрезвела, такого сорта тирады она слыхала и раньше и хорошо знает, что за ними следует. Поэтому тут же принимается торопливо рыться в куче одежды, ища свою куртку, почти сразу ее находит и, натянув на одно плечо, отползает к дверям. В тот же миг мужик выходит из уборной, замечает ее торопливость и спешит на подмогу. Один шаг – и вот он уже распахнул дверь и снова сгреб ее за волосы и поднял. А-а-а! – она уже висит всей тяжестью на собственных волосах, кожа отрывается от головы, глаза слепнут, единственное, что они видят, – это белую вспышку боли. Но вот и все, секунда – и все прошло. Ослабив хватку, он дал ей пинка под зад босой ногой. Несильно, как раз чтобы ей приземлиться на лестничной площадке.

– Бухая блядина, – произносит он почти спокойным голосом. – А ну вали отсюда!

Биргитте точно известна мера покорности, нужная, чтобы не побили. Не подымая глаз от пола, она ползком отодвигается так далеко, как только позволяет зрение. Будь тут лестница, она бы скользнула вверх по ней – быстро и незаметно, как змея в густую траву, но нет лестницы... Паника охватывает ее – лестницы-то нету! Секундой позже она замечает лифт. Туда, немедленно, в ту же секунду, как он захлопнет дверь!

Серенький рассвет встречает ее, когда несколько минут спустя она делает шаг на улицу и за ее спиной, лязгнув, захлопывается подъезд. Ночью подсыпало снега и все еще очень холодно, Биргитта, дрожа, поплотнее закутывается в куртку. По ходу дела бросает взгляд на собственные ноги. На них черные туфли-лодочки, таких она никогда раньше не видела. Широкие черные лодочки. Похоже, она свистнула туфли у какой-то Минни Маус.

Биргитта медленно подымает голову и смотрит по сторонам. Двор вокруг совсем незнакомый. Она стоит перед серым многоэтажным домом, которого никогда прежде не видела, по другую сторону газона – несколько трехэтажных домиков, таких же незнакомых. Только-только отремонтированных. Кто-то додумался для красоты выкрасить их серый бетон в бледно-розовый. И чего выдрючиваются? Ума-то нету.

Биргитта, покачивая головой, трогается в путь. Пошатываясь на тонких каблуках, бредет через газон и детскую площадку, то и дело озираясь, пытаясь найти хоть какую-то подсказку – где же это она. Сплошь дома. Большие дома и маленькие, серые дома и розовые. А между ними кое-где тоскливые зимние кусты и полупустые парковочные площадки, грязные сугробы и невыразительные граффити на стенах.

Где я? Куда ж это ее занесло?

Она стоит посреди парковки и, медленно поворачиваясь, озирается. Все совсем чужое, ничего-то она не узнает. И холод прямо собачий, мороз обжигает щеки, а ноги почти онемели. Еще бы – ноги-то совершенно мокрые. Вдруг она представляет себя в инвалидном кресле с отрезанными ногами – влекущая и одновременно пугающая картина. А в дверях палаты стоят обе задаваки, терзаемые раскаяньем. На них какие-нибудь грубые пальто, а сама она в голубом больничном халатике, поверх которого кокетливо выпущен белый кружевной воротник ночной рубашки. Ее волосы, чисто вымытые, опять такие же душистые и светлые, как в юности. Сначала она их, задавак, не заметит и они будут долго стоять в дверях, сдерживая слезы, а потом она медленно поднимет голову и посмотрит на них огромными синими глазами...

Брр! Сбросив с себя наваждение, она описывает еще один круг по двору. Вот хреновина! Стоять вот так посреди неузнаваемого пространства, в чужих туфлях, пока насмерть не замерзнешь... Было бы хоть пивко!

Домой надо, домой. У нее в квартире полно всяких закоулков, где-нибудь пивко наверняка осталось.

Вдалеке слышится звук мотора, сквозь рассвет едет одинокий автомобиль. Скрестив руки, она идет на звук – нескончаемое путешествие мимо все новых нарумяненных бетонных трущоб, газонов и детских площадок, но теперь цель поставлена, и Биргитта, обхватив себя за плечи, чтобы удержать остатки тепла, стремительно идет вперед. Стоит выбраться из двора на улицу, и сразу ее узнаешь. Если ты всю жизнь прожила в Мутале, то нет такой улицы, которую не сможешь узнать, – как бы перед этим ни нагрузилась... А как только поймешь, где ты, так сразу домой – и по пивку! И спать. По-настоящему. В собственной постели. На мгновение постель эта кажется такой всамделишной, что Биргитта закрывает глаза и чуть не засыпает на ходу...

Блин! Неужели никогда не отвязаться от этих короткометражек, которые постоянно крутятся в ее мозгу! Они опасные, колдовские, в них – магия, уничтожающая действительность. Никогда ничего не выходит так, как мечтаешь, – поэтому самые горячие желания лучше засунуть в черный мешок в дальнем углу сознания и никогда не поддаваться искушению его открыть. Это она усвоила еще в детстве. Тысячу раз ей виделось, как она сбегает от Старухи Эллен домой, к Гертруд. И что же? Гертруд умерла. А позже, став старше, она до того зримо сочинила себе про семейное счастье с Догом, что и сегодня помнит свои мечты лучше, чем то, что было на самом деле. Это должна была быть современная четырехкомнатная квартира с кухней, а на кухне занавески с оборочками. А что получилось? Дровяная плита, холодная вода и сортир на улице, а потом Дог сторчался, а ребенка забрали.

Спокуха, надо взять себя в руки, хватит воображать себя в собственной квартире, а то вообще туда не попадешь. Если подумаешь о сне, то и спать-то будет негде. «Думай только о том, что делаешь», – вечно поучала Старуха Эллен. Что в общем-то разумно. Единственная разумная вещь, какую эта гадина выдавила из себя за столько лет...

Вот уже и улица. У Биргитты щемит в животе, улица тоже незнакомая. Широкая, гораздо шире, чем любая из улиц Муталы, с двухполосным движением и островком безопасности посередине. На той стороне начинается новый жилой массив – высокие серые дома с черными окнами. Она никогда их раньше не видела.

Что за хрень? Да где это она?

Биргитта зажмуривается и глубоко вздыхает. Потом открывает глаза и старается думать только о том, что делает. Что она, Биргитта Фредрикссон, стоит на каком-то газоне, в чьих-то промокших туфлях и в собственной куртке. Она не знает, где она и как сюда попала, но знает, что если застегнуть куртку на «молнию», будет не так холодно. Да только это правильное решение неосуществимо – пальцы так онемели от холода, что вряд ли что-то получится.

Впереди – тротуар с пятнами слежавшегося снега на черном асфальте. Чтобы туда попасть, придется лезть через сугроб. Заледеневший снег хрустит и ломается, несколько льдинок закатываются в черные лодочки. Зато дело сделано – вот она уже и на тротуаре. А в нескольких метрах стоит какая-то женщина и смотрит на нее. Биргитта приглаживает волосы, пытаясь выглядеть как самая что ни на есть обычная фру Свенссон, возвращающаяся с какого-нибудь ночного дежурства. Сунув руки в карманы куртки, чтобы не размахивать ими, как бухарики, Биргитта короткими, полными достоинства шагами приближается к женщине. Ясненько теперь. Тут автобусная остановка.

– Простите, – говорит она и слышит собственный сиплый голос. И, прокашливаясь, поспешно уговаривает себя, что и обычная фру Свенссон поутру может малость охрипнуть. Но на всякий случай она старается все-таки прочистить горло.

– Простите, я немного заблудилась... Вы не скажете, где это я?

Женщина – иностранка, у нее темные стриженные волосы и тонкое пальто, обтягивающее зад. Она уставилась на Биргитту своими черными, широко раскрытыми глазами и делает некий жест, который можно понимать по-всякому: «Не бей меня, жирная бабка!» или «Я не говорю по-шведски, оставьте меня в покое.» Или: «Я тебя не вижу, и ты меня тоже».

– Послушай, – говорит Биргитта, пытаясь изобразить улыбку, но тут же соображает, что рот ее – своего рода опознавательный знак. Никакая фру Свенссон не станет разгуливать с черной дырой на месте выбитых зубов. Улыбка выдаст ее с головой, покажет, кто она на самом деле: наркоманка, переквалифицировавшаяся с годами в старую пьянь... Она захлопывает рот, притушив улыбку.

В этот момент подъезжает автобус. С ним что-то не так, и проходит несколько секунд, прежде чем Биргитта соображает, в чем дело. А дело в надписи над кабиной, уведомляющей о конечном пункте маршрута.

Вринневи? Да это же в Норчёпинге...

Наконец до Биргитты доходит, где она.

Водитель неумолим, он заставляет включенный мотор нестерпимо рычать на холостом ходу, покуда сам упрямо повторяет одно и то же. Кто не может купить билет, тому и ездить нечего. И никаких исключений!

Биргитта накрепко вцепилась в поручень в дверях и канючит:

– Ну пожалуйста, ну будьте любезны, черт возьми! Ведь холодно... А деньги я потом пришлю, клянусь! Дайте мне только адрес, и я прямо сразу как домой приеду, так и вышлю деньги в вашу вшивую автобусную контору... Ну, пожалуйста!

– Сойдите с подножки, – говорит водитель, по-прежнему глядя прямо перед собой. – Автобус отправляется, двери закрываются.

В дверях что-то зашипело, но ничего не произошло. А Биргитта так просто сдаваться не намерена.

– Ну будь человеком, а... Какая-то сука мой кошелек сперла, но дома-то у меня есть деньги, правда, я пришлю, как только домой попаду. Мне сейчас срочно надо в полицию, заявить... Слушай, ну просят ведь!

– Отойдите! Закрываю двери!

Водитель угрожающе сдвигает двери, но не решается захлопнуть их до конца. Биргитта делает шаг на следующую ступеньку.

– Слушай, ты! Я даже садиться не буду, столбом буду стоять в проходе... А деньги пришлю! Ей-богу!

– Сказано – выходи! – говорит водитель. Его губы сжались в ниточку, а спина выпрямилась. Биргитта подымается еще на ступеньку. Вот она уже стоит с ним рядом.

– Послушай. – Она пытается улыбнуться, не открывая рта. – Ну что тебе стоит разок в жизни девушку выручить...

– «Девушку»! – повторили за спиной и фыркнули. Она оборачивается. В глубине салона сидят две девчонки-подростка. Одна засунула шарф себе в рот, чтобы не прыснуть, другая зажала рот ладонями. Обе не смеют поднять глаз. Биргитта, метнув на них угрожающий взгляд, поворачивается к ним спиной. Хихикающие девчонки – прямо нож по сердцу: они больше, чем что-либо, напоминают ей о себе прежней. Когда-то это было ее право – хихикать надо всем на свете. Но теперь терзаться времени нет.

– Выходи, – снова повторяет водитель.

– Да послушай ты, – ноет Биргитта. – У меня в карманах вроде мелочь осталась. Всего он не смог забрать, ворюга... Давай, трогай, увидишь, я наберу мелочью... Ты поезжай, а я пока поищу! Смотри, вот денежка. И вот еще, пятьдесят эре... Тебе-то сколько надо?

Но водитель, наоборот, глушит мотор и встает. Бояться-то нечего – такой же тощий замухрышка, как Роджер. Небитый маменькин сынок – видали, как нос задрал: командует целым автобусом!

– Поедешь другим автобусом, – говорит он. – Выходи!

Биргитта все еще роется в карманах:

– Да поезжай ты, что ли!

– Ты что, плохо слышишь? Выходи, я сказал!

Девчонки за ее спиной снова фыркают. А из-за их спины доносится негромкий, но внятный мужской голос:

– Да вышвырнуть ее, и все. И так опаздываем.

– Во-во, – соглашается другой голос. – Людям на работу пора, не ждать же до скончания веку...

– Заткнитесь, – откликается Биргитта. – Заткнитесь, не ваше собачье дело...

Тут она лезет в задний карман джинсов и ощущает нечто странное. Купюра? Ну да, конечно! Когда она надирается, то последние деньги обычно туда и сует. На мгновение она забывает, что мечтаний надо остерегаться; перед ней стремительно проносятся кадры – кадры ее торжества, как она швыряет свою сотенную этому задаваке-водителю. Замечталась? Получай... Глянув на то, что у нее в руке, Биргитта понимает, какие беды несет даже мгновенная мечта. Это вовсе не сотенная купюра. Это письмо. Странное такое письмецо.

– Гестаповец хренов! – выкрикивает она, вываливаясь на тротуар. Она чуть не теряет равновесие, но, устояв, резко оборачивается, пытаясь снова вскочить в автобус. Однако водитель проворней. Двери захлопываются с презрительным шипением, и ухватиться уже не за что. Автобус трогается, и из-за его светящихся желтым теплом окон пассажиры наблюдают за ее неистовой жестикуляцией.

– Гестаповец хренов! – снова кричит она, пиная автобус в заднее колесо. – Сука гитлеровская! Да я на тебя в суд подам...

Но пока она кричит, автобус успел уже далеко уехать, и только красные огоньки медленно тают в рассветных сумерках.

Уже немало отмахав от остановки, она замечает, что все еще держит странное письмо в руке. Оно царапает щеку, когда Биргитта подымает руку, чтобы утереть нос. Вовсю течет и из носа, и из глаз – не поймешь толком, не то она замерзла, не то правда плачет.

Встав под фонарем, она внимательно разглядывает письмо. Конверт старый, уже однажды использованный. Кто-то зачеркнул старый адрес, а рядом написал новый. Фрёкен Биргитте Фредрикссон. Фрёкен! Это же додуматься надо – фрёкен!

Пальцы до того застыли, что приходится разорвать весь конверт, чтобы вытащить письмо. Безумная надежда разгорается у нее в душе – письмо такое маленькое, такое желтоватенькое!

Это – рецепт!!! Кто-то послал ей рецепт: на собрил, наверное, или – о господи, ну конечно же! – на рогипнол. Непослушные руки ходят ходуном, так что приходится помогать себе ртом, чтобы развернуть наконец желтоватый листок.

Это и правда бланк для рецепта. Даже с печатью ее сестрицы: Кристина Вульф, дипломированный врач. Но на листке красной гелевой ручкой крупными корявыми буквами выведены хорошо знакомые строки:

Ах, быть бы мне Биргиттой тоже,  
Подлатала б манду кожей,  
Объезжала б я дома,  
Всем давала б задарма.

А в самом низу – мелкими буковками:

Чем она и занималась!  
Всю дорогу!

И тут словно коготь раздирает ее внутренности. Оглушенная болью, она сгибается пополам, обеими руками схватясь за живот.

Потом она уже сама не понимает, куда идет. Помнит только, что брела целую вечность все по той же улице, и вот серые бетонки шестидесятых годов остались позади, теперь по правую руку пошли многоквартирные дома пятидесятых в желтой штукатурке, а по левую – аляповатые виллы. В многоквартирных домах кое-где уже светятся окна, а окна вилл все еще темные.

Биргитта ищет дом Старухи Эллен, она уже не соображает, в каком времени живет, знает только, что скомканное письмо с этим похабным старым стишком засунуто за лифчик, – потому что мятая бумага колет кожу, трет и царапает, распалая ее гнев.

Сволочи! Эллен и задаваки! Теперь она их убьет по-настоящему, теперь покончено с фантазиями, хватит, нахлебалась! Все ложь и клевета. Все заявления в полицию, все злонамеренные показания. Даже когда она была уже на верном пути, когда она собиралась с силами, чтобы начать новую жизнь, – даже тогда они преследовали ее своими обвинениями и заявлениями. Лишь бы помешать, лишь бы не помочь! И все только оттого, что они ей дико завидуют. Как завидовали в тот день, когда в первый раз ее увидели. Потому что у нее была Гертруд – настоящая мама, которая ее любила. А у Кристины – только полоумная Астрид, – тоже мне мамаша, спалить пыталась собственного ребенка! А у Маргареты и вовсе никакой матери не было. Ее нашли в прачечной. Черт знает что за мамка такая – оставить новорожденного младенца в прачечной? Дерьмо, а не мамаша. А вот у нее – Гертруд! Этого ни задаваки, ни Старуха Эллен стерпеть не могли! Потому что Старуха Эллен желала быть первой, единственной и неповторимой! Лучшей мамочкой в Швеции! Фигли! Можно подумать, мы не знаем, как оно было на самом деле...

Биргитта шмыгает носом и, пошатываясь, сходит с тротуара, там лед и слишком скользко, зато на проезжей части машины проложили в снежной слякоти несколько черных асфальтовых борозд, вполне сухих – настолько, что даже сверкающие лодочки Минни-Маус не разъезжаются. Биргитта поддает ногой глыбу льда, смерзшегося с гравием. Здоровую и тяжелую, пожалуй, потяжелей и побольше кулачищ Дога, а они у него были огромные, ни у кого из мужиков она таких не видела. Да, Дог! Еще один повод для их адской зависти. Никогда не забыть Маргаретину рожу в тот вечер – ее лицо за стеклом машины буквально позеленело от зависти. Дог выбрал ее, Биргитту! Все девчонки из Муталы, – стоящие, конечно, а не мокрицы вроде

Кристины, – все были там, и каждая мечтала, чтобы это случилось именно с ней. Но случилось это вовсе не с ними. А с нею – с Биргиттой!

Она останавливается посреди проезжей части: пусть все это случится снова. Вараму, шестидесятые годы, голубые июньские сумерки. Они с Маргаретой, Крошкой Ларсом и Луа сидят в машине и слушают последнюю пластинку Клиффа Ричарда на портативном проигрывателе, и тут – р-раз – на парковочную площадку на всем ходу вылетает «крайслер» Дога – красный, с огромными хвостовыми киями и батареей фар. И вот он целую минуту сидит за рулем, позволяя рассмотреть себя, покуда мотор урчит вхолостую. Он наверняка знает, что неотразим, знает, как сверкают его блестяще-черные волосы, а выглядывающая из-под кожаной куртки нейлоновая рубашка – такая же ослепительно-белая, как его лоб.

Но более, чем красота, к нему влекла опасная слава – угоны автомобилей, пара лет в исправительной школе, потом целое лето разъездов с передвижным парком аттракционов, – дурная слава эта пряным ароматом тут же разлилась по всей парковке, заставляя девчонок опускать глаза и облизывать губы.

– Дог, – говорит Крошка Ларс пронзительным ломающимся голосом и нагибается вперед, чтобы включить зажигание новенькой папашиной «Англии». Крошка Ларс и сам похож на папашину машину. Весь из ломаных острых углов.

– Нет, – говорит Биргитта. – Не включай...

Крошка Ларс привык слушаться. Девятнадцать лет подряд он слушался своего отца, из них восемь – еще и учителя в школе, а последние четыре он к тому же слушается механика в «Люксоре». И тогда он послушался Биргитту – в первый и последний раз.

Дог выскальзывает из своего автомобиля, захлопывает дверцу и оглядывается. На парковке все смолкло, слышен только голос Клиффа Ричарда в сопровождении оркестра. Все взгляды устремлены на Дога, мечты всех девчонок трепещущими мотыльками несутся к нему, а бессилие мальчишек выдает себя упрямым молчанием.

Биргитта знает, что он идет к ней; еще прежде чем он направился к «Англии» Крошки Ларса, она уже знала, что он идет к ней. Крошка Ларс это тоже знает. Бусинки пота выступают у него на лбу, но он не говорит ничего, только нагибается, берет проигрыватель с ее колен и ставит на свои. И тут же Дог распахивает дверцу машины и хватается Биргитту за запястье.

– Теперь ты – моя девчонка, – говорит он. И больше ничего. Только это.

Как в кино, думает она. Совсем как в кино... И словно грянул хор и запели смычки, когда он вытащил ее из машины, – хор и смычки, достигшие ликующего крещендо, когда он, опрокинув ее на капот «Англии», подарил ей первый поцелуй. Краешком глаза она видит внутри салона зажмурившегося Крошку Ларса, а позади него – позеленевшее лицо Маргареты, глаза сузились, зубы оскалены. Она похожа на злобного зверька, думает Биргитта и закрывает глаза. На языке Дога пивная горечь, – тогда она впервые извела этот запах и вкус. Все прочие поцелуи до сих пор отдавали лишь леденцами и сигаретами «Джон Сильвер».

Он не берет ее за руку, никогда, ни разу не возьмет он ее за руку, вместо этого он хватается ее за запястье, как конвоир, и она добровольно семенит за ним к красному «крайслеру». И не успевает усесться, как он врубает мотор и нажимает на какую-то кнопку. Крыша поднимается и скользит прочь. Это – кабриолет! Ее переполняет торжество. Она сидит в кабриолете с самым крутым парнем Муталы. И все несносные страдания, какие ей пришлось вынести в этом городке, вдруг кажутся вполне терпимыми. Поскольку обретают смысл. Их смысл – в этом вот мгновении...

Ему приходится сделать круг по всей площадке, чтобы развернуться. Для Биргитты это круг почета. Она избрана. В глазах остальных, неизбранных, она отныне – королева Вараму. Но в тот момент, когда автомобиль уже вылетает с парковки, она слышит сзади пронзительный мальчишый крик:

– Ах, быть бы мне Биргиттой тоже...

Этот глумливый хохот она никогда не забудет, хоть никогда не была вполне уверена, что в самом деле его слышала. Но что Дог покосился на нее – в этом она уверена. И в том, что он спросил:

– Что такое?

– А! – ответила она. – Делать им нечего...

А что ей было ответить? Что эта дразнилка преследует ее с тринадцати лет? Что ее малевали краской на стенах туалетов и вырезали в телефонных будках? Что ее выкрикивали на школьном дворе, а теперь, когда она начала работать в «Люксоре», шипят за спиной фабричные сволочи? Этого она, разумеется, не скажет, не то всему конец. Какое-то время он ничего не узнает...

– Клевая тачка, – говорит она вместо этого и гладит рукой сверкающее кресло.

И тут он ей улыбается.

За спиной взвизгивают тормоза, ворчит мотор. Биргитта чуть оборачивается и делает предостерегающий жест: остынь, мол. Но настырный водила снова жмет на газ, взывает мотор. Хрен тебе. Биргитта поворачивается к нему спиной и вызывающе-неторопливо шествует по асфальтовой полоске, чернеющей посреди проезжей части, идет, поддавая ногой ледяную глыбу. Она ничего не слышит. Пусть жмет на газ сколько угодно, она его все равно в упор не видит.

На другой стороне улицы белеет вилла. Дом Старухи Эллен тоже был белый. Наверное, это он и есть, хоть и не похож. Эллен, видно, его переделала, понасадила новых кустов, а окна пробила другие, чтобы сбить Биргитту с толку. С нее станется. Кто-то зажигает свет на кухне, и видно, как там внутри двигается чья-то тень. Точно, она. Мотается, как обычно, от плиты к столу, и дряблые старушечьи сиськи трясутся как лопарские рукавицы. Вот блин, до чего же отвратная старуха!

Биргитта, вероятно, так и вышагивала бы по проезжей части, туда, к этому белому домику, не нажми водитель за ее спиной на клаксон. Три настойчивых сигнала. Биргитта замирает на месте, оцепенев.

– Заткнись! – выкрикивает она, словно машина – живое существо, способное ее услышать. Но к машине она стоит спиной, и ее крик летит в противоположную сторону. – Заткнись! Пошел на фиг!

Машина за спиной снова принимается гудеть. И тогда Биргитта оборачивается, чуть не упав, но ухитрившись удержать равновесие, и видит, что позади нее выстроилось уже три машины, вылупив на нее белые фары. Причем первая продолжает ехать – катится прямо на нее, угрожающе рыча, а водитель опускает стекло и высовывается в окно.

– Куда тебя несет? – кричит он. – Зайди на тротуар, эй, ты!

Одного взгляда достаточно Биргитте, чтобы понять, что это за тип. Сверкающая машина и гладкая стрижка. Очки, звонкий голос, белая рубашка и галстук. Задавака!

А задавак Биргитта презирает. И потому, не раздумывая, нагибается, хватая ледяную глыбу и, подняв ее над головой, ловко запускает ему в физиономию. Тот, вскрикнув, вырубает мотор; его рука словно примерзает к клаксону.

И вот утренняя тишина раскалывается на множество звуков. Кто-то кричит, гудит клаксон, две другие машины тормозят, распахивая дверцы, из каждой выскакивает по мужику, потом они захлопывают дверцы, лает собака, и секундой позже на крыльцо белого домика выходит, саданув дверью, седой старичок. Он медленно спускается по ступенькам, держась обеими руками за перила, и, кажется, не замечает, что идет босиком. Биргитта застывает, замирает, она стоит не шевелясь посреди улицы и внимательно следит за всем происходящим вокруг. Но когда старик ставит босую ступню на садовую дорожку, Биргитта, очнувшись, начи-

нает пятиться. Потом поворачивается и бросается бежать. Когда он ступает на тротуар, она уже далеко. Но он ее заметил. Он и остальные. Все, кто может видеть, заметили ее.

И скрыться абсолютно некуда. Садики перед виллами слишком маленькие, а голые черные кусты – слишком жидкие. Дворы позади доходных домов на другой стороне – большие и пустые, там нет даже велосипедного навеса, чтобы спрятаться. Биргитта слышит собственные шаги, и собственное шумное дыхание, и далекое завывание сирен. Уже? Неужели менты уже тут?

Она лихорадочно дергает запертые двери подъездов, нажимает одну беспорядочную комбинацию цифр за другой на маленьких черных панелях – все без толку, только красная лампочка мигает. Сирены все ближе – бежать, исчезнуть...

Ее находят на лестнице в подвал, она поскользнулась на обледеневших ступеньках, разбила руки и подвернула ногу. Несколько минут она бессильно лупила и дубасила в дверь подвала, наконец сняла одну из лодочек и попыталась разбить стекло двери каблуком. Бесполезно – ни единой трещины. Закаленное!

Она сдалась, услышав, как взвыли и замолкли сирены на улице, грузно опустилась на холодный цемент и натянула на голову куртку. Так она и сидит, когда румяный молодой полицейский перегибается через перила в двух метрах над ней.

– Вон она, – кричит он. – Я нашел ее...

Он по-норчёпингски кругло выговаривает гласные, а его овчарка заливается торжествующим лаем.



## Карательная экспедиция

*Я бенандант<sup>7</sup>, поелику четырежды в году, сиречь в каждое из четырех времен года, ночной порой отправлялся вместе с другими, покидая свою плоть ради незримого оборения духовного...*

*Из оправдательной речи распорядителя публичных торгов Баттисты Модуччо перед Инквизицией в Чивидале 27 июня 1580 года*

Ага. Прекрасно.

Наконец я привела моих сестриц в движение. Теперь все они у меня там, где нужно.

Кристина сидит, серая от усталости, в машине перед зданием Кризисного центра для женщин в Мутале, а Маргарета как раз из него выходит. Она старательно прихлопывает за собой дверь, дергает ее, проверяя, сработал ли замок – вся лестничная клетка пестрит предостережениями насчет ошалевших от адреналина самцов, – и останавливается закурить очередную сигарету. Кристина распаивает дверцу машины, давая понять, что она готова вытерпеть и табачный дым, лишь бы узнать о результатах разговора.

– Они не звонили, – качает головой Маргарета, усаживаясь в машину. – Там только три девчонки, одна там работает – волонтером, а две сами там прячутся. Ни одна из них не звонила, они все клянутся...

– А ты им веришь?

– Вполне. Волонтерша даже отвела меня в сторонку и рассказала, что Биргитту они больше на порог не пустят. Она пару раз была у них оборудование...

– Боже, – говорит Кристина безразличным голосом и заводит мотор. – Ухитриться надо, чтобы тебя уже и в такое место не пускали на порог... Ловко, ничего не скажешь.

– А что теперь? – говорит Маргарета.

– Завтракать, – отвечает Кристина. – Мне через два часа на работу.

Биргитта ругается. И как! Так что небу жарко, так, что дьяволам в преисподней и тем не по себе. Всех разукрасила и сама теперь словно обесцветилась: волосы повисли серыми клочковатыми прядями, кожа – бледная и пористая, и губы лишь на полтона темнее.

Ну и что? Со всяким может случиться. Даже с молочно-белой Мэрилин Монро из Муталы.

А молодой полицейский, наоборот, – картинка! Настоящий ариец с плаката – белокурый, синеглазый, здоровенный, с нежной персиковой кожей поверх железных мышц и стального скелета. Раньше таких молодых людей не было, они – порождение постмодерна, конца века.

Обычно их узнаешь по нижней половине лица – у них могучая шейная мускулатура и широкий подбородок. Вообще-то это странно. В нынешнее время молодым людям ни к чему ни мощный подбородок, ни железные мышцы. Для них куда логичнее истончиться и побелеть, превратившись в хрупкий ландыш, чем вымахать до неба, как могучий дуб.

У Биргитты челюстные мышцы тоже развиты, но по совсем иной причине, чем у юного полицейского. Больше двадцати лет кряду ее челюсти ходили ходуном в амфетаминовом скрежете зубовном. Но теперь настала тишина. Для скрежета у нее осталось не так уж много зубов, а кроме того, она перешла на другие химические соединения. Она лжет себе, будто сама сделала этот выбор, сознательно отказалась от амфетамина, наглядевшись на то, как умерли мно-

---

<sup>7</sup> Бенанданты – согласно старинным итальянским поверьям, люди, способные помимо собственной воли покидать свое физическое тело и сражаться против ведьм, защищая от них будущий урожай. Их оружием были метлы из дурро (сорго). Бенандантом мог быть только рожденный «в сорочке» (с остатками плодного пузыря на голове). Инквизиция преследовала бенандантов наравне с колдунами и ведьмами.

гие ей подобные. Но на самом деле не Биргитта бросила амфетамин – это амфетамин бросил Биргитту. Он перестал действовать, и ей пришлось утешаться алкоголем. Вот почему нежные ноздри Плакатного Арийца трепещут, когда он спускается по цементной лестнице. Ясное дело, от Биргитты пахнет. Причем не розой и не жасмином.

Она все сидит, скорчившись и натянув куртку на голову, и не смеет шевельнуться, несмотря на то, что он снова и снова повелевает встать. Лишь когда он хватает ее за руку и принимается тащить вверх по лестнице, она, будто очнувшись, начинает ругаться. Она плюет ему на руки и вопит, что он жестоко обращается с ни в чем не повинной женщиной, пытаясь пнуть его овчарку. Пес скалит зубы, готовый укусить, но Ариец успокаивает его. Тут важно сохранить собственное достоинство. Никто не скажет, будто он не смог без помощи собаки задержать пьяную старуху. С этим он и сам справится.

А Биргитте представление о собственном достоинстве не было ведомо никогда. Она искала унижения с какой-то жадностью. В Мутале не осталось ни одного магазина, где она бы не была поймана на краже, ни одной улицы, где бы ее, скандалящую и отчаянно размахивающую руками, не задержала бы полиция, ни одного полицейского участка, где бы она не лгала и не была уличена во лжи. Я видела, как она блевала в урну на рыночной площади, – днем в субботу, разумеется, когда на рынке больше всего народа, – а потом молча нагнулась вперед, чтобы видеть, как зловонная поносная жижа течет у нее по ногам. Я видела, как она, вдрабадан пьяная и обмочившаяся, сидит в сугробе поздним вечером, а вокруг нее с глумливым хохотом носится ватага подростков. Я видела, как она ложилась то под одного, то под другого; даже под Роджера, закрывавшего ей ладонями лицо, чтобы только его не видеть. И при всем этом я видела, как она высокомерна, как ее распирает непонятная гордость собственным падением...

Пострадавший водитель стоит посреди тротуара, вокруг него собралась небольшая толпа. Один глаз он прикрывает ладонью, из-под нее катится капля крови, словно слеза. Два других водителя встали справа и слева от него, как телохранители; повернув свои побелевшие лица к Биргитте, они смотрят на нее, свирепо выкатив глаза. Прямо перед ними стоит пожилой полицейский, ухитряясь одновременно беседовать по-свойски и держать дистанцию. Он похож на ангела, потрепанного ангела-хранителя, повидавшего столько, что больше ничего уже в упор не видит.

Босой старик наконец обулся. К тому моменту, когда Ариец то тычком, то волоком наконец переместил Биргитту через улицу, он стоит, воздев руки, возле ангела-полицейского.

– Вот она, – кричит старичок и машет веснушчатой рукой. – Это она его так отделала. Я сам видел!

– Заткнись, старый хрен! – привычно отбρίζει Биргитта.

Для Арийца, воспитанного старомодными родителями в почтении к старости, это уже чересчур. И он врзает ей по голове с такой силой, что Биргитта больше не издает ни звука. Лишь тогда он вспоминает, что и она, в сущности, весьма немолода.

Кристина с Маргаретой тоже притихли в машине на обратном пути в Вадстену. Они словно сообщающиеся сосуды, мои сестры. Когда одна злится или просто не в духе, другая тут же робеет и принимается лстить, заискивать и улыбаться, но немедля начинает язвить и перечить, едва сестра сменит гнев на милость. Так у них всегда ведется, по крайней мере пока в их поле зрения нет Биргитты. Но с ее появлением обе сестры проявляют сокрушительное единодушие. Поистине сокрушительное.

А теперь, в блеклом утреннем свете, они словно достигли некоего состояния молчаливого равновесия. Слов уже не осталось – столько их было сказано за прошедшую ночь. Они говорили непрестанно, сперва благоговейным шепотом, когда полагали, что направляются к смертному одру, потом – деловито и вполголоса, на все повышающихся тонах, и, наконец, ядовито и недоверчиво, когда оказалось, что никакой Биргитты Фредрикссон в числе поступив-

ших за эту ночь нет. Это так возмутило их, особенно Кристину, что вся ее внешняя сдержанность мгновенно выветрилась. Ее каблуки гневно цокали по коридорам, когда она обходила городскую больницу Муталы, отделение за отделением, и в ее поставленном докторском голосе звучала такая власть, что испуганные санитарки приседали перед ней в книксене. А стоило Кристине преобразиться, как преобразилась и Маргарета: напускная самоуверенность тут же дала трещины, робко семена за Кристиной в своих модных мокасынах на мягкой подошве, она нервно лепетала: «Нет ее здесь, надо уходить, пошли...»

Но Кристина была непоколебима, она методично обследовала одно за другим все отделения в этом огромном сером здании, от детского до геронтологического. Когда же наконец, после больше часу беготни по коридорам, они сдались и спустились на лифте на первый этаж, лицо у Кристины было белое от бешенства. Ну, с нее достаточно! Теперь уж она позаботится, чтобы Биргитту посадили под замок, и лично выбросит ключ.

– Безнадежный случай, – говорит она, толкая входную дверь. – Пора усвоить. С некоторыми ничего нельзя поделать... Это на генетическом уровне. Она такая же, как ее мамаша. Безнадежная!

Холодный ночной ветер растрепал Маргаретины волосы, когда она замешкалась, напавшая по карманам сигареты.

– Господи, Кристина, уж кто бы говорил про гены!

Кристина резко обернулась и вперила в нее потемневшие глаза. Она вся словно обрела небывалую прежде яркость, даже блеклые русые волосы будто заискрились под уличным фонарем.

– Ах, ты насчет Астрид! Хочешь сказать, я должна была стать такой же, как Астрид! Ха! Но у меня ведь и отец был.

Маргарета прикуривала, прикрывая ладонью от ветра огонек.

– И у нее тоже.

– Вот именно, – сказала Кристина. – Какая-нибудь пьянь. Еще один безнадежный случай.

– А о своем отце ты что знаешь? – наседала Маргарета. – А я? Я-то даже не знаю, кто была моя мама. Что такие, как мы, могут знать о своих генах?

– Достаточно. Наша жизнь о чем-то да говорит. А вот что мне надоело, так это твой слюнявый гуманизм... Сначала ты скулишь и всячески ее ругаешь, а потом – на попятный. Ты же ее убить грозила, так? А как до дела дошло, сразу бедненькая Биргитта, несчастненькая Биргитта. А я и не сомневалась, что так и будет. Представь себе.

Маргарета сердито пыхнула дымом ей в лицо.

– Стало быть, только твои исключительные гены обеспечили тебе приличное существование? А то, что ты ходила в любимчиках у Тети Эллен, – это как бы и ни при чем?

Кристина фыркнула:

– В любимчиках? Я? Это ты была ее любимица! Такая симпатичная, такая веселая! А я – просто старательная зубрила, и не будь я зубрилой, ничего бы из меня не вышло. Меня бы просто не было. А Биргитта, между прочим, тоже росла у Тети Эллен... Иногда Биргитта ей даже больше нравилась. Ну вспомни, когда Биргитта пошла работать в «Люксор». Уж как ее хвалили! Настоящая работа – на фабрике! Что там все мои заслуги и отметки!

Маргарета вытянула руку вперед и ткнулась в ворс Кристинино манто, напавшая ее локоть. Но Кристина отпрянула, торопливо и резко. Лишь тогда Маргарета поняла, что та в ярости. От этого ее собственный голос сразу стал мягче:

– Ну как ты не понимаешь? Ты ее просто пугала своими успехами. В этом для нее было что-то чуждое. Вот Биргиттина работа на фабрике – это понятное, знакомое. Ведь единственное, чего она нам желала, – это обычной жизни. Обыкновенной работы, обыкновенного мужа, обыкновенных детей... И ты все это получила. Ты все получила, чего она желала тебе, только разрядом повыше.

Но Кристина, повернувшись к ней спиной, уже направляется к стоянке.

– Туши сигарету, – говорит она. – Туши, и поедем.

Маргарета жадно докуривает на бегу.

– Куда?

– В Кризисный центр, разумеется. Потому что надо наконец с этим разобраться, раз и навсегда.

О господи. Словно это возможно – хоть с чем-то на свете разобраться раз и навсегда.

– Завтракать, – щебечет санитарка в дверях голосом радостного попугайчика. – Тебе простоквашу или овсянку, Дезире?

Вопрос – чистая формальность. Она знает, что я хочу простокваши. Не потому, что она вкусная, – овсянка с яблочным пюре вкуснее, – но когда у Черстин Первой утренняя смена, мне не дадут есть овсянку самостоятельно. Я накапаю на простыню, стало быть, меня нужно кормить. А когда приходится выбирать между простоквашей, которую можно выпить через соломинку, и телесным контактом с персоналом, я неизменно выбираю простоквашу. Всегда.

Я не знаю, как звать эту девчушку, я все никак не выучу имена всех дневных сиделок и санитарок, но сама она разговаривает со мной так, словно мы с ней росли в одной песочнице. Эдак запросто – Дезире то, Дезире се. Черстин Первая постоянно внушает всем своим подчиненным, что если к людям обращаться прямо по имени, с ними легче наладить контакт. У нее муж – менеджер по продажам.

Тем временем безымянная ставит поднос на мою тумбочку, продолжая щебетать:

– Дай я взобью тебе подушку, Дезире. Сейчас мы спинку поднимем, чтобы ты смогла сесть как следует. Тогда ничего не прольешь. Хочешь кофе, а? Девчонки говорят, что ты прямо такая кофейница! Ха-ха-ха... А кстати, вы с доктором Хубертссоном уже провели ваше маленькое утреннее совещание, а? Или мне принести и для него чашечку?

Сломай ногу, думаю я. Или иди повесься.

На какое-то мгновение мне кажется, что я на самом деле могу пробраться к ней в голову и устроить, чтобы она грохнулась как следует. Но это просто мысль; теперь у меня больше нет ни времени, ни сил для рискованных карательных экспедиций.

А было иначе. В первое лето, когда у меня открылись эти способности, я пускалась по неопытности на рискованные вещи, к тому же я так изголодалась по новым ощущениям, что думать не думала об окружающих меня людях. Я видела в них лишь возможных носителей: в приютском пасторе и в трудотерапевте, в сиделках и врачах, в случайных посетителях и скорбных родственниках. В своем нетерпении и возбуждении я гнала их туда, в лето, только лишь для того, чтобы выскочить из них, едва подвернется другой носитель, еще лучше. Я столь много не видела, что теперь стремилась побывать везде. Я постоянно меняла обличье: утром я девчонка в босоножках на каблуке, и теплый ветер дует мне в затылок, днем я – молодой человек, сидящий на берегу Веттерна и пересыпающий песок между пальцев, а в вечерних сумерках – женщина средних лет, склонившаяся над темно-синим цветком живокости, чтобы заполнить все закоулки носовых пазух его ароматом.

Тем летом я многое узнала: как целовать и каково, когда тебя целуют, как во время танца желание увлажняет даже самое сухое лоно, и что ощущают губы и нос, касаясь пушка на головке грудного ребенка...

И многое другое.

Но ближе к осени, когда дни стали короче, а деревья сделались похожи на черную резьбу на небе, все переменилось. Я узнала о бенандантах, услышала их предостережения и на собственной шкуре поняла, что за каждый мой побег надо платить. С каждым разом я уставала все больше и больше, иногда лежала почти без сознания по многу часов кряду. Но к тому времени я уже достаточно насытилась впечатлениями, чтобы принять это спокойно. Я снова

начала интересоваться тем, что происходит в нашем отделении. Так и получилось, что я стала забираться в моих сиделок. И научилась бояться самых симпатичных из них, тех, кто ласковой всех улыбался над моим изголовьем.

Психопатки. Потенциальные убийцы. Все до одной.

– Что это за жизнь? – перешептывались они у себя в кофейной комнате и в коридоре. – Не может ни говорить по-человечески, ни ходить...

– А голова-то...

– Да, боже упаси! Как у гуманоида... Первый раз я жутко перепугалась.

– А пролежни! Вчера я видела ее бедро... А Хубертссон все выдумывает с этими льняными простынями. Словно это поможет.

– Она, наверно, так страдает...

– Еще бы. Это бесчеловечно. Она больше тридцати лет лежит и дергается, и что, ей еще столько же мучиться? Или даже дольше? Лучше было бы с этим покончить.

Количество несчастных случаев в отделении той осенью стремительно росло. Одна свалилась с лестницы – перелом плюсны. Другая обварила руку кипятком. Третья выпила по ошибке мой препарат от эпилепсии. А четвертая, нарезая хлеб, отхватила себе кончик пальца. И так далее.

Конечно, суд мой был суров, но, видит бог, справедлив. Я карала лишь за наигранное сочувствие и только тех, кто, имея человеческий голос, не имел человеческого сердца. Молчаливых теток и тихих девочек я не трогала; мне даже случалось убеждаться в их туповатой нежности. Им позволялось ерошить мне волосы и гладить по щеке, не рискуя быть укушенными. Но при одном условии – пусть молчат. Подлинная доброта молчалива. У нее в запасе много поступков, но ни единого слова.

Поэтому я и презираю эту безымянную, что ставит мне завтрак на тумбочку. Ее рот переполнен словами, так что они текут по подбородку, как слюни. И тем не менее я знаю, что едва она выйдет из моей палаты, то скажет, как прочие: «Для чего ей вообще жить? Это же бессмысленно...»

Поймите меня правильно: дело не в том, что она желает мне смерти – порой я сама себе этого желаю. Меня бесят эти претензии – для нее, видите ли, очевидно, что моя жизнь более бессмысленна, нежели ее собственная. В чем, интересно, заключается бесценный смысл ее жизни? В том, чтобы вывести двух-трех детенышей? Или в том, чтобы десятилетиями просиживать вечера перед телевизором рядом с ворчунным мужем? Или – вот радость-то – в том, чтобы время от времени выбираться в поход по магазинам по бульжным мостовым Вадстены?

Если я задам ей такой вопрос, она потеряет дар речи. Я знаю. Всем способным двигаться – в известной мере даже Хубертссону – легко болтать о бессмысленных пустяках, но крайне тяжело – об их противоположности. О смысле. От самого этого слова они теряются, как солдаты Армии спасения в борделе, чувствуя и смущение, и одновременно соблазн, заставляющий краснеть и отводить взгляд.

Говорят, это Исаак Ньютон виноват, что это его механистическая модель мира за триста лет отвратила западного человека от самого понятия «смысл». И в самом деле: если Вселенная – это Ньютонов часовой механизм, а человек в ней – случайный микроб, то в понятии «смысл» нет ничего, кроме мучительности. В такой Вселенной биологически неполноценным микробом вроде меня вполне можно пренебречь. Часовой механизм и без него будет тикать себе дальше, и, может быть, даже еще лучше. Следовательно, в существовании данного микроба еще меньше смысла, нежели в жизни полноценных особей.

Но ведь теперь-то мы знаем, и с каждым днем все яснее, что Ньютон коснулся лишь самой поверхности сущего. Вселенная – не мертвая машина, она – сердце. Живое сердце, оно расширяется и сокращается и растет в бесконечность, покуда не сожмется в непостижимость. И как у любого другого сердца, у него есть свои тайны и своя мистика, свои загадки и приключения,

свои перемены и превращения. Лишь одно только неизменно: количество массы и энергии. Сколько этого было изначально, столько и пребудет, разве что в некой новой, иной форме.

Каждая частица даже в таком несовершенном сгустке, как мое тело, такая же вечная, как сама Вселенная. Но уникальность именно данного скопления частиц – в том, что оно сознает собственное существование.

У меня есть сознание. В нем я отделяю себя от других людей, которые могут ходить и разговаривать. И я убеждена, что смысл спрятан именно тут – в сознании. Мне ничего не известно ни о его форме, ни о содержании, – возможно, смысл – это уравнение или стихи, песня или сказка – но я знаю: смысл есть. В каком-нибудь виде он присутствует.

Поэтому я смею утверждать, что в моей жизни не меньше смысла, чем в жизни этой безымянной девчонки, которая нарезает сейчас мой бутерброд на кусочки размером с почтовую марку. И мне достанет гордости заявить, что смысла в моей жизни даже больше. Потому что девчонка всегда пребывает и пребудет там, где есть. И никогда – вовне.

А я могу бывать там, где меня нет. Как электрон, когда он осуществляет свой квантовый скачок. И подобно электрону, я оставляю след. Даже там, где меня не было.

Апрельская ведьма, говорят бенанданты – ты почти как мы, но не нашего племени. Я заставляю своего носителя – чайку или сороку, галку или ворона – расправлять крылья и иронически кланяться. Я знаю. Я почти как они, но не из их числа.

Кое-кто из них мне завидует. У меня больше возможностей, и перемещаться я могу дальше. Но это ведь справедливо. Тело у бенандантов всегда работает исправно, они живут обычной жизнью в обычном мире, и большинство покидает собственную плоть лишь по большим праздникам четырежды в год. Некоторые из них даже не подозревают, кто они такие. Когда сменяются времена года и они просыпаются наутро после ночных своих странствий и Парада Мертвых, то в памяти у них остаются лишь бледные лица да серые тени. Они уговаривают себя, что это им просто приснилось.

Другое дело апрельская ведьма. Она сознает, кто она такая. И, познав свои способности, может видеть сквозь время и витать в пространстве, прятаться в капельках воды или в панцире насекомых так же легко, как вселяться в человека. Но своей собственной жизни у нее нет. Ее тело всегда хрупко, несовершенно и неподвижно.

Нас не так уж много. Честно говоря, второй я вообще ни разу не встречала. Четырежды в год я честно участвую в Параде Мертвых в надежде повстречать себе подобных, но до сих пор этого не случилось. Рыночная площадь Вадстены заполняется всяческими созданиями, но другой апрельской ведьмы я там никогда не видела. Приходится довольствоваться обществом бенандантов, этих трусливых обывателей мира теней.

Впрочем, иногда и от обывателей бывает польза. Благодаря им я теперь стала осторожнее, чем в первые годы. Бенанданты объяснили мне, что если кто-нибудь заговорит с твоим опустевшим телом, пока тебя самого там нет, то ты уже никогда не сможешь в него возвратиться. И станешь одной из тех бесформенных теней, что обретают облик лишь во время Парада Мертвых.

У себя в квартире ничего такого можно было не опасаться, там меня никто не беспокоил, пока я сама не попрошу о помощи. Если казалось, что я сплю, мои помощники просто прикрывали двери спальни, чтобы я спала и дальше. Не то что здесь: тут в любое время дня на тебя может смотреть кто угодно. И, кажется, ничто так не искушает Черстин Первую и ее свиту, как пациент, задремавший днем. С таким пациентом обязательно надо заговорить...

Так что в дневное время приходится стеречь собственное тело и ни во что не вмешиваться, довольствуясь наблюдением на расстоянии. Можно разве что накоротко отлучиться – поймать, скажем, птицу на лету и заставить ее как можно быстрее доставить письмо по нужному адресу. Это так, к примеру.

Но ночь – мое время. Пока у меня есть отдельная палата, ночи в моем полном распоряжении. И ночной персонал. Впрочем, в обращении с этими женщинами тоже требуется определенная осторожность. Я уже поняла, что в начале ночной смены их лучше не трогать – в это время они слишком заняты и ими сложно управлять. Находясь в собственном теле, я их никогда ни о чем не прошу, – пусть только укроют меня и выключат свет, прежде чем я отправлюсь в путь – чайкой или сорокой. Чайки лучше: у них широкие крылья и плавный полет, чего не скажешь о сороках. Кроме того, чайки не такие восприимчивые, они, похоже, никогда не замечают текущего сквозь их разум чужого сознания. А сороки, наоборот, сразу насторожатся и перепугаются, едва почувствуют что-то неведомое, глядящее сквозь их собственные глаза. Почти как люди.

В общем, я не хочу пугать женщин из ночной смены. Поэтому вселяюсь я в них редко и по большей части в самые тихие ночные часы – между двумя и тремя ночи, когда все пациенты спят крепким сном без сновидений, так что сами они могут, усевшись в кофейной комнате, отпустить свои мысли на волю. Я слежу, чтобы никого из них не обделить своей милостью, пусть мое сознание тихо-тихо проплывает сквозь каждую. Несчастливым я шепчу слова утешения, юным рисую цветущие грезы, а встревоженным пою о спокойных водах. И лишь когда все они забудутся на узкой пограничной полосе между сном и явью, я заставляю некоторых из них мне послужить.

Вот так однажды ночью несколько недель назад я заставила Агнету написать письмо маленькими буквами на розовой шелковой бумаге, пронести его по коридору в мою палату и засунуть в мою наволочку. На другую ночь Мари-Луизе досталось написать другое письмо и доставить его туда же. Несколько ночей спустя бледненькой Ильве пришлось искать подшивку желтых рецептурных бланков и проштамповать их забытой у нас в приюте печатью доктора Вульф. Но когда я шептала у нее в голове Биргиттину дразнилку, то девочка от радости выронила ручку. Мне пришлось расширяться, заполняя всю ее голову, чтобы заставить ее пальцы схватить красную гелевую ручку, и тогда Ильва стала коряво водить ею по бумаге под мою диктовку. Когда наутро пришел Хубертссон, я так вымоталась, что не в силах была ему отвечать. Но на другую ночь я все же смогла сделать так, чтобы черноглазая Туа запихала письма в три использованных конверта, залепила скотчем и написала на них адрес. А вчерашней ночью, когда события уже набирали ход, я в самом начале ночи отправила Лену в ординаторскую, заставила ее тихонько запереть дверь, набрать номер и заявить, будто она звонит из Кризисного центра для женщин в Мутале...

И все это я проделала ради Хубертссона, потому что он уже давно мечтает услышать повесть о моих сестрах.

Но сколько бы он для меня ни значил, я не могу подарить ему то, что он хочет, без того, чего он вовсе не желает. Без повести о той жизни, которая для меня уже подходит к концу.

Повести, начало которой я сама получила в дар от Хубертссона.

– Ты последняя жертва последнего голода, – сказал он как-то.

Пожалуй, такой взгляд оправдан: повесть о каждой из наших жизней – всегда еще и повесть о тех, кто был прежде нас.

Так что история моя начинается за добрых тридцать лет до моего рождения. Ноябрьский день в конце Первой мировой, Норчёпинг, маленькая девочка сидит в закутке у железной плиты и плачет.

– Только не брюкву, мамочка... – сипит она, надсаживая распухшее горло. – Только не брюкву!

Но мать лишь молча нагибается к плите и подкладывает еще полено и потом смотрит, как искрами вспыхивает береста, прежде чем захлопнуть заслонку и дать разгореться огню.

Все в девочкином лице – влажное и покорномолящее: и глаза, и губы, и подбородок. Все в ее матери – сухо и твердо: сжатые губы, стиснутые кулаки, непреклонная спина.

– Мамочка, пожалуйста, не надо брюкву... Опять эта брюква!

Но мать уже подавила в себе сострадание, заставила себя забыть, отчего так мучительно плачет дочка. Девочка уже набрала воздуха и открыла рот, чтобы умолять снова, но в это самое мгновение мать поворачивается и смотрит ей в прямо в глаза. И дочка умолкает, потому что в свои неполные четыре года уже понимает то, что увидела в глазах матери. Что будет еще хуже.

– У нас больше ничего нет, – говорит мать.

Девочка не отвечает, она сидит молча, покуда мать оттирает ей слезы своим передником. Ткань стала мягкой от бесчисленных стирок, но рука от них же сделалась жесткой и грубой.

А когда зима сменяет осень и в самом деле становится еще хуже, дочка уже не плачет. Она затихает, когда голод вгрызается в ее тело. Он мнет и месит детский скелет и перелепливает на свой лад, и вот уже косточки гнутся, навсегда искривляются ноги, на ребрах проступают четки – в том месте, где кость переходит в хрящ, – а форма таза незримо, исподволь непоправимо искажается.

Девочка тащит на себе усталость, словно горб. По утрам, когда мать, уходя на фабрику, оставляет ее наедине с огнем в плите, она залезает на раздвижной диван и там лежит. Она не играет, и она даже не помнит уже того времени, когда играла в последний раз, – того времени, когда в доме еще водилось молоко и овсяная каша... Но вспоминает, найдя однажды в глубине дивана несколько крошек: как-то она засунула руку в щель между матрасом и спинкой и принялась водить указательным пальцем по диванному дну. И внезапно наткнулась на что-то твердое. Крошки от хлебцев. Когда-то, давным-давно кто-то лежал на этом диване и грыз хрустящий хлебец. Облизнув палец, девочка снова сует палец в щель дивана, крошки прилипают, и она отправляет их в рот. И вспоминает вкус – давний, почти забытый, – этот ореховый привкус чуть пригорелых хлебцев. И в тот же миг у нее внезапно и непонятно почему носом идет кровь.

От этих кровотечений она будет страдать всю свою жизнь. Стенки ее сосудов сделались хрупкими, как мыльный пузырь: достаточно легкого ветерка, чтобы они лопнули. С годами ей становилось все хуже. Ее тело словно отказывалось поверить в то, что голод остался позади, что на столе у матери теперь и картошка, и свинина, и луковый соус, и хлеб из муки грубого помола, и духовитые яблоки, да и сама она, подрастая, научилась печь даже ситный хлеб, не жалея для теста сливочного масла, и делать такую жирную простоквашу, что лежала в миске одним дрожащим куском. Все равно у нее то и дело шла кровь из носа, а кости так и остались кривыми.

В этом кровоточащем теле начинается мое существование, я ввинчиваюсь в толстую слизистую оболочку матки и вцепляюсь намертво, а потом покачиваюсь в эмбриональной вечности и слышу пение и воркующий смех, покуда я расту и становлюсь собой.

Врач, осматривавший ее перед родами, ничего не знал о закутке возле железной плиты и о голоде, а потому не потрудился измерить глубину ее таза. Тридцать часов подряд мой мягкий череп тычется вслепую в неправильно сросшиеся кости, тридцать часов мы обе страдаем общей мукой, оттого что давний голод загородил жизни дорогу. Лишь когда мы обе готовы умереть, ее усыпляют и рассекают матку.

– Кто? – шепчет Эллен, едва очнувшись.

Что ей могли ответить? Что теперь было говорить?

Акушерка отворачивается и молчит. И все молчат.

Но сама я протягиваю руку сквозь время и шепчу:

– Щепка. Я щепка на волнах, мамочка.

Но, пожалуй, от этой истории я Хубертссона избавлю. Ему и без меня известно о ломких сосудах Эллен и о ее искореженном скелете. В отличие от меня он ее не только знал, но и лечил.



От меня ему нужно другое – полнокровное повествование. Он хочет знать конец этой истории, которая началась июньским днем больше тридцати лет назад, когда он обнаружил свою квартирную хозяйку лежащей на полу без сознания.

Много раз он описывал мне реакцию трех девочек: как Кристина стояла оцепенев в дверях, прижав ко рту сжатые кулаки, как Маргарета сидела на полу возле Эллен, держа ее за руку, и как Биргитта, прижавшись к стене, пронзительно верещала:

– Это не я, это не я...

Он поехал в неотложку вместе с Эллен. Ну а когда вернулся поздним вечером, дом был пуст, а записка на двери уведомляла, что девочки находятся на попечении комиссии по делам несовершеннолетних.

С того времени он мог следить за их судьбами лишь издалека. Кристина, конечно, его коллега, но не более того. Она охотно беседует с ним на медицинские темы и даже приглашает в гости, но стоит ему только заикнуться насчет Эллен и того рокового дня, как она сразу умолкает и смотрит в сторону.

– Хотел бы я знать, – говорит он время от времени. – Хотел бы я знать, что же произошло перед тем, как я пришел тогда домой...

Однажды я имела глупость ответить:

– Давай я напишу для тебя об этом.

И, сказав, сразу пожалела.

Хубертссон считает, что мне страшно, что лишь поэтому история затягивается и я в который раз начинаю все сызнава. Но это не так. Я не боюсь моих сестер, просто хотелось бы избежать излишней близости. Дело в том, что я вообще не хочу близости с кем бы то ни было. Кроме, может быть, Хубертссона.

Худшее в моем состоянии, как физическом, так и душевном, – это невозможность защитить себя. На протяжении почти пятидесяти лет к моему телу прикасались чужие люди: они мыли мне голову и мазали мое тело всякими мазями, чистили мне зубы и стригли ногти, меняли памперсы и снимали кровавые бинты. И все это – такое приятное в детстве и вполне сносное в юности – с годами все больше превращается в ежедневную пытку. Словно каждая рука, прикасаясь к моему телу, прожигает в нем дыру и сквозь эти дыры капля за каплей вытекает мое «я». Скоро от меня останется только мешок из кожи и громяющая в нем кучка костей; остальное вытекло на больничный линолеум и подтерто тряпками уборщиц.

При моих тайных способностях, по идее, все должно бы обстоять наоборот: апрельская ведьма должна уметь размазать «я» своего носителя тонкой пленкой по белой стенке черепа и пользоваться его телом для своих надобностей. Но я слишком часто теряю самое себя в голове другого человека, – вплывая туда, я с ним смешиваюсь. И вдруг начинаю смеяться и плакать, любить и ненавидеть по его воле – не по моей. Я тону в моем носителе. Но я не хочу этого. Все должно быть совсем иначе.

Поэтому теперь я все чаще выбираю животных и безразличных мне незнакомцев. Там мне удастся удерживаться на поверхности, там нет опасности утонуть. И поэтому я остерегаюсь внедряться в тех, кто хоть как-то – хорошо или плохо – влияет на мою жизнь; никогда в Черстин Первую и никогда в Хубертссона. И ни в коем случае – в моих сестер.

Кто-то из них проживает жизнь, предназначенную мне. И так же горячо, как Хубертссон мечтает выяснить, что же произошло в тот далекий день, я желаю знать – кто же из них троих.

Но я хочу только знать, а не сопереживать. Видеть – но издали.

Довольно. Я пообещала Хубертссону отыскать ответ на его давний вопрос, а слово надо держать. Поэтому сейчас я пребываю в нескольких местах одновременно. Я полулежу в постели, решительно вцепившись в кусок бутерброда с колбасой в крапинках жира, в то же время витаю под потолком помещения для алкоголиков в здании Норчёпингской полиции и

стою на крыльце «Постиндустриального Парадиза», глядя, как Кристина роется в сумочке – ищет ключи. Маргарета стоит у нее за спиной, закусив губу.

– Мне бы только душ принять, – говорит она. – И я сразу двину отсюда...

Кристина так устала от бессонной ночи, что у нее нет сил притворяться гостеприимной. Она лишь пожимает плечами. В Маргаретином голосе слышится мольба:

– Я бы, конечно, поспала несколько часиков... Если это тебя не затруднит. До обеда мне машину никак не починят...

Кристина снова пожимает плечами и открывает дверь. От ее молчания Маргарета теряется еще больше.

– И потом... я могу сделать завтрак, если хочешь. Пока ты примешь душ и приведешь себя в порядок.

Кристина аккуратно вешает мантию на плечики. Маргарета швыряет дубленку на старинный сундук и продолжает уже громче:

– Значит, договорились. Я готовлю завтрак, пока ты приводишь себя в порядок... Тебе чай или кофе?

– Кофе, – отвечает наконец Кристина, разглядывая свое посеревшее лицо в зеркале. – Черный...

Биргитта лежит с открытым ртом на покатом полу камеры для алкоголиков. Она спит, но снов не видит, даже во сне она помнит, что грез надо остерегаться.

Допросить ее никто не удосужился. Когда она отказалась назвать свое имя, ее без лишних формальностей затащили в эту камеру. Она не кричала, даже не ругалась. Просто легла на бочок, положив ладошки под щеку. Как ангел. Настоящий маленький ангелочек.

О господи. И ради них предать меня...

Но ведь это правда. Эллен предала меня. Три здоровые, нуждающиеся в опеке девочки обрели уютный дом в той давней Мутале начала пятидесятых только оттого, что годом раньше младенец, страдающий тяжелой энцефалопатией, судорогами и эпилепсией, был помещен в интернат для детей-инвалидов и забыт.

С утилитарной точки зрения это было правильным решением; счастье трех девочек было куплено ценой несчастья четвертой. А Эллен жила в утилитарное время, не особенно сочувствовавшее больным и неполноценным. В тогдашнем Доме для народа<sup>8</sup> такие вещи было принято прятать, и поэтому всех дебилов и уродцев отправляли в соответствующие учреждения. Там белые халаты врачей благоухали свежестью, там каждый божий день драили полы с мылом, там в коридорах стояла такая тишина, что шуршание накрахмаленной формы медсестер было слышно за много метров. И только брошенные дети нарушали это благолепие – их слюнявые, слепые лица, раздутые водянкой головы, их шаркающие изуродованные ступни и скрипучие горбики, их вопли и невнятная, заикающаяся речь, их судороги и эпилептические припадки.

Эллен во многом была дитя своего времени и, будучи одной из первых в Швеции патронажных сестер, тоже некоторым образом принадлежала к этому гигиеническому воинству. Еще подростком, испугавшись рабства фабричной жизни, она сбежала в Муталу от норчёпингской текстильной промышленности. Там, облачившись в наряд, очень похожий на настоящую форму больничной медсестры, она каждый день колесила на велосипеде по всему городу; готовила еду для одиноких стариков, помогала больным матерям – купала младенцев и вытирала им носы; присматривала за нервными молоденькими мамами, чтобы не поддавались после родовым психозам, а выполняли свой долг.

Она была настоящим сокровищем. Так считали и в социальном отделе, и в комиссии по делам несовершеннолетних. Веселая и обязательная, опрятная и заботливая, умелая и надеж-

---

<sup>8</sup> «Швеция – дом для народа» – выдвинутый в 30-е годы лозунг Социалистической партии Швеции.

ная. Кроме того, она прекрасно готовила. Поэтому никто особо и не удивился, когда Хуго Юханссон, первый строительный рабочий, выбранный в члены городского муниципалитета, начал оказывать ей довольно неуклюжие знаки внимания. Они были словно созданы друг для друга: оба – благоразумные и верные, честные и работающие. И даже к лучшему, что Хуго был вдов и на двадцать лет ее старше – у него уже имелся собственный дом, готовое гнездышко для юной жены.

Где-то среди бумаг Хубертссона я видела Хуго, подретушированный снимок сороковых годов, – пожилой мужчина с невыразительным лицом и старческими глазами. Я с трудом могу представить себе, что это мой отец, его глаза мне абсолютно ничего не говорят.

В сущности, это вовсе не странно. Ведь на самом деле он не более чем донор спермы для моей матери. Когда Эллен оказалась в родильном отделении, Хуго уже лежал в другом отделении той же больницы, пожираемый раком.

Я замираю с куском бутерброда во рту и слушаю. Каблучки «воспитательниц» выбивают по коридору особенно энергичную дробь, а голоса, наоборот, стихают. Так бывает, когда кто-нибудь из больных и в самом деле плох.

Кто бы это мог быть?

Из больных я тут мало кого знаю. По правде сказать, я их избегаю. В большинстве своем это старики, их присутствие для меня мучительно по многим причинам. На днях я видела такого старика, он сидел в столовой, когда одна из девушек Черстин Второй везла меня по коридору. У меня перехватило дыхание, когда я заметила его сквозь полуоткрытую дверь столовой, а девица за моей спиной замерла на месте. На мгновение все мы застыли в глазах друг у друга – девица, старик и я.

Он, как и я, сидел привязанный к креслу-каталке. Но верхний ремень ослаб, и его тело повалилось вперед, так что левая щека легла на поверхность стола. Вставные зубы наполовину вылезли изо рта. Руки бессильно повисли. Он не мог даже чуточку приподнять их, чтобы, оттолкнувшись от стола, попытаться сесть. Плечи тяжело упирались в острый край столешницы. Наверное, ему было больно.

Он ничего не сказал, даже не застонал, только медленно поднял брови. В этот миг время снова пошло. Девица, отпустив мое кресло, прижала обе руки ко рту.

– О боже, – проговорила она. – Нет!

Я была благодарна, что она этим и ограничилась, – недаром девица была из смены Черстин Второй, – что она не стала с ним сюсюкать, как с младенцем. Просто быстро подошла к нему и помогла подняться.

– Хочешь полежать, Фольке? – спросила она.

Он закрыл глаза и кивнул. Внезапно меня охватил неодолимый порыв – хотелось вскочить с собственного кресла, крепко обхватить его, обнять, унести прочь от унижений, в некую иную жизнь... Но единственное, что я могла сделать, – это отвести взгляд, когда его повезли мимо меня, – как другие тысячу раз отводили взгляды от меня самой.

Должно быть, этот Фольке и решил теперь умереть.

Порой они идут на это – несчастнейшие из стариков. Решают умереть. Конечно, они не вольны выбирать себе последний на свете недуг, но уж раз он их поразил, они, похоже, делаются властны над собственной смертью. И отпустить самих себя им ничего не стоит: однажды они разжимают руку, которой держались за канат жизни, – и падают.

Я-то пока что крепко держусь за свой канат. Главным образом из-за сестер и Хубертссона, и еще потому, что знаю, что ждет тех, кто умер до срока. Но Фольке бояться нечего. Его жизнь совершилась в полной мере, и ему никогда не блуждать вместе с Процессией Мертвых.

В дверь барабанят, и девица с попугайским голосом толкает ее бедром.

– Позавтракала, Дезире?

Я хватаю мундштук и выдуваю:

– Да. И хорошо бы сегодня душ принять. Можно?

На ее лице проступает растерянность по мере того, как она читает на экране мою просьбу.

Она пожимает плечами:

– Не знаю. Я спрошу...

– Уже прошло больше недели.

Она пытается задавить меня своим молчанием. Я требую, значит, я избалованная. Все пациенты, у которых раньше были помощники и собственная квартира, считаются тут избалованными. А я особенно – потому что Хубертссон делает мне поблажки. Такие, как я, думают, что им позволено все решать самим. В том числе – когда и как часто принимать душ. Ни в малейшей степени не считаясь ни с занятостью персонала, ни с требованиями экономии.

Я не выпускаю мундштук изо рта.

– Сегодня я должна принять душ. От меня уже пахнет. Кроме того, у меня начинаются пролежни, если я принимаю душ реже двух раз в неделю. Вам это известно...

Теперь она уже не щебечет, как попугай, ее голос понизился на целую октаву, когда она устремляется в дверь с подносом в руках:

– Да, но я должна спросить! Я ведь уже сказала!

Она намерена отрапортовать самой Черстин Первой. А Черстин Первая, по-видимому, постарается потянуть с ответом.

Я посмеиваюсь – ничего, подождем.

В «Постиндустриальном Парадизе» Кристина с тяжелым вздохом садится завтракать. Так всегда получается – долго-долго мечтаешь, как позавтракаешь одна, – и ни тебе джема, ни чеддера, ни булочек. И определенно – ни покоя, ни роздыха.

Вареное яйцо являет собой жалкое зрелище – оно недоварилось, и половина вытекла. Причем лопнуло оно, разумеется, уже во время варки, белок убежал сквозь трещину в скорлупе пенными хлопьями, будто у яйца вдруг началось бешенство. К тому же Маргарета, обуреваемая неуместным рвением, засушила в тостере аж восемь ломтей хлеба: вон они лежат в плетенке, подгоревшие и остывшие.

– Я обычно не делаю тосты заранее, – говорит Кристина, старательно улыбаясь через стол.

Маргарета пожимает плечами, она уже и так совсем расстроилась, пока готовила завтрак, и теперь ей совершенно наплевать на эту завуалированную критику ее кулинарных талантов.

– Ты еще останешься и поспишь немножко? – любопытствует Кристина, пока тоненький слой масла тает и впитывается в ее свежий, еще горячий тост.

В масле полно черных крапинок – Маргарета только что намазывала им свой горелый сухарь. Обе молча глядят на масло в крапинку, наконец Маргарета отвечает:

– Да. Если удастся. Но в обед я все-таки свалю.

Кристина серьезно кивает:

– Тогда я оставлю тебе ключ. Когда запрешь, можешь положить его в одну из ракушек снаружи...

Маргарета корчит недоуменную гримасу:

– На крыльце, что ли?

– Ну да. Я купила их, когда мы с Эриком были на Бали пару лет назад... Это была настоящая эпопея – довести их целыми до дома.

Маргарета чуть слышно фыркает:

– Так они, что ли, настоящие?

Кристина вскидывает на нее взгляд, явно шокированная.

– Разумеется, настоящие.

Маргарета, ухмыляясь, тянется за сигаретами. Ее недоеденный тост с маслом остался лежать на тарелочке.

– Надо же, – говорит она и щелкает зажигалкой. – А я-то думала, гипсовые...

Но как раз теперь, когда пришел Кристинин черед разозлиться, звонит телефон. Ей надо ехать в приют. Немедленно.

\* \* \*

Черстин Первая является прежде, чем я рассчитывала. У нее мягкие бахилы поверх белых сандалий, поэтому я ее не услышала. Вдруг дверь в мою палату легонько толкнули – и вот она здесь.

Особенность красивых женщин – у них практически нет лица. Достаточно посмотреть рекламу: у первейших красавиц отсутствуют черты лица, только пара свободно парящих глаз и намек на рот.

То же самое и у Черстин Первой. У нее, разумеется, есть и нос, и щеки, и подбородок, но блестящие глаза и безупречной формы губы настолько подавляют все остальное, что больше ничего и не видно. Вот она хмурит на меня красиво изогнутые брови и вперяет мерцающие глаза в мое убожество.

– У тебя появились новые пролежни?

Я хватаю мундштук.

– Нет. Пока что.

– Но ты сказала Ульрике, что у тебя появились пролежни.

– Какой Ульрике?

– Санитарке, которая приносила тебе сегодня завтрак. По ее словам, ты утверждаешь, будто у тебя появились пролежни...

– Такого я не говорила. Я сказала, что у меня появятся пролежни, если я не приму душ.

– Сегодня у нас нет для этого персонала.

– Я не мылась целую неделю!

– Сочувствую. Но я не виновата, что у нас сейчас не хватает ресурсов. Впрочем, я прослежу, чтобы тебя сегодня подняли и привезли в гостиную. Кресло-каталка – лучшее средство от пролежней, ты ведь знаешь. Сегодня, кстати, у нас лото. А потом будет петь хор.

Меня корежат спазмы, голову мотает так, что едва удастся удержать в губах мундштук. И все-таки я ухитряюсь выдуть корявый протест:

– Я не хочу играть в лото. И никакого хора мне не нужно. Я хочу под душ.

Черстин Первая терпеливо ждет, пока я выдую свой ответ до конца. Потом улыбается:

– Ты поймешь, как это здорово, едва там окажешься. И кто знает, может, сегодня ты выиграешь апельсин? А кстати, сегодня нам надо прибраться в твоей палате. Да и тебе, собственно, не повредит сменить обстановку.

Мундштук выпадает у меня изо рта и соскальзывает в сторону, я пытаюсь его поймать, преодолевая спазмы. Но Черстин Вторая не торопится, она стоит, приветливо улыбаясь, и смотрит, как я судорожно хватаю ртом воздух. Наконец поймав мундштук, я выдуваю единственное слово:

– Обстановку?

Улыбка Черстин Первой делается еще шире.

– Конечно. Тебе надо перебраться к другой пациентке. Правда, здорово?

Я медленно выдуваю:

– Нет!

Черстин Первая наклоняется надо мной и замирает, голос ее становится грудным:

– Какая жалость, а я-то думала, тебе понравится, что рядом с тобой будет живая душа. – Она выпрямляется, сложив руки на груди. – Слушай, мне очень жалко! Но я ничего не могу поделать, придется меняться, потому что Фольке из двухместной нужна отдельная палата. Он очень плох, вся его семья едет сюда. Его мы поместим в твою палату, а тебя – к малышке Марии.

Я зубами впиваюсь в мундштук, хоть и боюсь, что от моих подергиваний шланг может разорваться. Тогда я лишусь голоса, пока на дежурство не заступит Черстин Вторая со своей сменой. Или пока завтра утром не придет Хубертссон. От этой мысли меня охватывает паника, но я все равно не в состоянии разжать челюсти и отпустить мундштук. Я выдуваю:

– К кому?

Слова мигают на экране. Черстин Первая искоса взглядывает на них, направляясь к двери. Останавливается, уже положила одну ладонь на ручку двери, и машет мне другой:

– К малышке Марии, ты ведь знаешь. С синдромом Дауна. Она ужасно милая, как и все они. Они ведь ласковые и добрые – соль земли, знаешь ли. И все-все – славные очаровашки. Тебе есть чему у нее поучиться!

У меня перед глазами вспыхивают белые молнии, и судорога, не похожая на привычные спазмы, сотрясает мое тело. Я закрываю глаза. Тьма объяла горизонт. Буря приближается, и единственное, что я могу, – это ввериться ей.

## Близнец-насос

*...и скажешь сам себе в ванной: я – не самый любимый ребенок. Любимый, когда подходит итог, и гаснет свет, и мрак наползает, когда ты заперт в искореженном теле под одеялом, под горящим автомобилем, и насквозь прорывается алое пламя под твоей головой прожигая асфальт или пол или подушку, – нелюбимы мы все, или, напротив, мы все – любимы.*

**Маргарет Этвуд**

– В приют? – переспрашивает Маргарета. – Я думала, ты работаешь в медицинском центре.

Кристина влетает в кухню в поисках ключей. На ней уже снова ее мохнатое манто.

– Ну да. Но я еще и семейный врач, и у меня там есть пациенты...

Найдя связку ключей на скамье возле плиты, она пытается снять с нее ключ от кухонной двери. Но пальцы не слушаются, и прозрачная кожа покрывается пятнами.

– Давай сюда, – говорит Маргарета, она все еще сидит за столом. – Давай, я попробую...

Кристина застегивает пуговицу, пока Маргарета снимает ключ со связки – раз и готово:

– На, держи!

Маргарета протягивает ей связку, ключ от кухонной двери ложится на стол. Какое-то мгновение обе не сводят с него глаз, и в ушах у них отдается голос Тети Эллен: «Нельзя класть ключи на стол! Это к несчастью!» Маргарета хватается за ключ и, усмехнувшись, сует его в карман джинсов.

– Да, – говорит Кристина, и вид у нее уже не такой затравленный. Скорее нерешительный. – Да. Тогда – всего тебе хорошего. Созвонимся...

Маргарета чуть скривилась:

– Само собой. И тебе всего хорошего.

– На могилу заедешь?

Маргарета кивает:

– Если успею до темноты...

– А к Биргитте?

– Э! На этот раз она доиграется...

Наступает молчание, потом Кристина, кашлянув, добавляет:

– Вот именно. Ладно, созвонимся. А теперь мне надо спешить...

Она вдруг едва заметно качнулась, будто собралась сделать шаг вперед, по направлению к Маргарете. Но та останавливает ее, выпустив в ее сторону облачко дыма.

– Эрик, – произносит вслух Кристина, поворачивая ключ зажигания. Она часто произносит его имя, когда остается одна, не потому, что скучает по нему, просто мысль о нем придает ей уверенности. Сейчас ей это необходимо. События последних суток словно отдернули прочь некую завесу – серо-стальную бархатную портьеру, колыхающийся железный занавес – и обнажили минувшее. Но, позвав Эрика, она забыла об этом, словно от его имени занавес снова задернулся и теперь можно жить так, будто того, давнего, и не было вовсе. Да, когда Эрик рядом, прошедшее мертво, но стоило ему уехать, как оно снова заворочалось и дышит в затылок.

Только на этот раз она ни к чему принаравливаться не собирается. Она уже не ребенок и не молоденькая девчонка, а прошлое прошло. И сегодняшняя Кристина Вульф не имеет к той, прежней, никакого отношения. Она появилась на свет в университете Лунда в тот самый

миг в конце шестидесятых, когда мотор мировой истории вдруг запнулся, переключаясь на другую скорость. Кто-то вкатил в комнату студенческого общежития яйцо, а несколько часов спустя тонкая скорлупа пошла трещинами. И вот к середине ночи инкубация завершилась. Скорлупа распалась на две половинки, явив миру юную женщину. И с самого первого мгновения она была такой, какой ей надлежало быть: серьезной и целеустремленной личностью, которая каждое утро усаживалась за письменный стол и ровно в восемь ноль-ноль открывала книгу. Всего несколько раз она откладывала книги в сторону до обеда, брала голубой листок почтовой бумаги и писала письмо своей приемной матери, встреченной ею в другой жизни. В письме было всегда одно и то же: «все в порядке, я откладываю деньги, чтобы навестить тебя на Рождество». Отвечали ей редко, зато в ее ящике обнаруживались совсем другие письма. Часто на них стоял штемпель Норчёпинга. Такие она, скомкав, выбрасывала в корзину, не читая. В Норчёпинге она никого не знает. Она ведь только что родилась и с этого момента живет только здесь, в Лунде.

«Мы сами выбираем себе жизнь, – в то время она часто повторяла про себя. – И вовсе не обязательно сразу хватать ту, что предлагают».

А теперь она давно уже взрослая, она сделала свой выбор и живет в Вадстене, она – личность, у нее есть обязанности и обязательства и нет ни времени, ни возможности копаться в том, что было. Она снова поворачивает ключ зажигания. Мотор покашливает в ответ. Две лампочки принимаются мигать на панели управления – масло и аккумулятор. Кристина проводит рукой по волосам, ее бросает в пот, очки тоже мгновенно запотевают и делаются мутными.

– Спокойно, – говорит она самой себе вслух и замуривает глаза. Опять поворачивает ключ. И чудо происходит: мотор ласково воркует в ответ. Завелся! Она бросает торопливый взгляд на часы на руке. После звонка прошло семь минут. Еще восемь – доехать до больницы. Должна успеть.

Кристина знает, разумеется, что Фольке из приюта обречен. И ей не спасти его. Началось последнее воспаление легких – освободитель всех пациентов, страдающих старческим слабоумием. Впрочем, Фольке слабоумием как раз не страдает, просто он устал от собственной старости. Когда силы стали покидать его тело, он собственной волей подавил свои чувства, не желая ни видеть, ни слышать, ни разговаривать. И Кристине тут уже делать нечего, разве что пожелать ему счастливого пути.

Собственно, ехать в приют ей незачем, достаточно было бы распорядиться насчет морфина по телефону, после чего спокойно докончить завтрак. Другие врачи так и поступают. Но Кристина так не может, она знает, что иначе весь оставшийся день ей придется обороняться от собственных отягощенных виной фантазий относительно мучительной смерти Фольке. Еще и поэтому она боится не успеть. Боится взглядов родственников и этой белокурой старшей сиделки, которая звонила. Черстин Первая, как ее там называют. В ее присутствии Кристина начинает нервничать, подозревая, что та догадывается, до какой степени ей, Кристине, постыла эта работа.

Увы, но это так. Именно постыла. Она ошиблась с выбором. И знает это уже давно. Фактически с того самого дня, как впервые увидела Эрика.

На его лекцию она попала в общем-то поневоле. Это был веснушчатый докторант, явно не привыкший выступать перед публикой. Вначале он, нервничая, переводил взгляд с одного на другого и делал длинные паузы, но постепенно увлеченность предметом пересилила застенчивость. *Agnesia cordis*<sup>9</sup>! Редчайшее явление, один случай на тридцать пять тысяч беременностей...

Кристина слушала вполуха, все до сих пор им сказанное не предвещало ничего особенно важного. Любопытно, конечно, но не так уж и обязательно для новоиспеченного врача общего

<sup>9</sup> Врожденное отсутствие сердца (лат.).



профиля. Кроме того, она отвыкла смирно сидеть на лекциях – несколько последних месяцев она непрерывно носилась от больного к больному, с дежурства на приемные часы, с приема в приюте на прием в поликлинику, из интерната для хроников в дом для престарелых.

Ее изумление в какой-то момент наконец улеглось – то первоначальное изумление, что она – сумела, что она, Кристина Мартинссон, стала настоящим врачом, допущенным к практике. Заметив краем глаза собственное отражение в блестяще-черном зимнем окне – неяркая невысокая женщина в белом халате и фонендоскопом в кармане, – она больше не поражалась, а, наоборот, иронически ему подмигивала. Да, представьте себе! Доктор идет!

Но такие краткие мгновения затаенного торжества случались все реже. Постепенно она стала понимать, насколько была наивна. Из года в год она лихорадочно штудировала книги, как одержимая, продвигаясь к цели. Штудии эти продолжались и во сне, она вскакивала среди ночи от кошмаров, в которых ей являлись пациенты с непостижимыми болезнями. Но так и должно быть. По утрам она, мотнув головой, стряхивала сны прочь и устремлялась в новый день за новыми знаниями. В одно прекрасное утро, думалось ей в то время, она проснется врачом, и тогда все будет иным. И прежде всего – она сама. Все скользящее и текучее в ней высохнет и застынет, единожды отлитое в форму, непоколебимое и мощное, как бетонная опора.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.